

## А. И. БАТЮТО

### ИЗ «ДНЕВНИКА» 1949—1952

*Публикация С. А. Батюто*

Дневник — с этим понятием мы всегда связываем что-то интимно-личное, не предназначенное для чужих глаз. Всякому, кто занимался публикацией подобных материалов, знакомы возникающие в связи с этим этические проблемы. Когда имеешь дело с интересным литературным материалом, написанным художественно одаренным (да еще и близким тебе) человеком, приходится принимать нелегкое для себя решение: публиковать, делая необходимые купюры. Читатель обратит внимание на это обстоятельство и смеем надеяться, поймет нас правильно.

В силу своей специфичности записи, носящие личный характер, делаются по «горячим следам» или вскоре после какого-нибудь события, что выгодно отличает их от привычных нам мемуаров: последние, наоборот, характеризует длительный временной интервал между их написанием и имевшим место фактом. Мемуары подчас грешат неточностями, в них нередки искажения.

Кажется, именно прошлый XX век с его катаклизмами наименее располагал в нашей стране к спокойным, вдумчиво-прихотливым записям личного характера: в приснопамятные 30—50-е годы это могло оказаться небезопасным. Большое значение имеет также, кто является автором дневника.

Вот почему дневниковые записи талантливого ученого, известного историка литературы XIX века Анатолия Ивановича Батюто (1920—1991) не могут не вызывать повышенного интереса: они отражают становление самобытной личности в страшное, жестокое время господствовавшего культа личности. Это становление, возможно, происходило не так быстро и гладко, как хотелось бы автору, но то, что оно состоялось, теперь уже ни у кого не вызывает сомнений. На протяжении почти сорока лет после защиты кандидатской диссертации по Тургеневу Батюто изучал творчество как этого писателя, так и многих других писателей и критиков 1840—1900-х годов: Н. С. Лескова, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена, А. П. Чехова, В. Г. Белинского, П. В. Анненкова и др.<sup>1</sup>

Дневник отражает мучительные переживания человека, поверяющего свои мысли доверительному другу и собеседнику — дневнику. С некоторыми оценками и суждениями можно и должно не соглашаться. Так, спорны ранние суждения, на-

<sup>1</sup> Подробнее о творческом пути А. И. Батюто см. в обширной статье И. А. Битюговой: *Битюгова И. А. О жизни в науке А. И. Батюто (1920—1991) // Батюто А. И. Избранные труды. СПб., 2004. С. 7—33. Там же см.: Хронологический список трудов Анатолия Ивановича Батюто (С. 942—948).*

пример, о Гоголе, Щедрина и Достоевском. Не будем, однако, забывать, что в процессе изучения «золотого века» русской литературы А. И. Батюто в корне пересмотрел свое отношение к тому же Достоевскому; деятельное участие в группе по изданию Полного собрания сочинений и писем писателя явно способствовало этому; из проспекта третьей, ненаписанной монографии следует, что ученый намеревался одну из глав посвятить Щедрина и Тургеневу.<sup>2</sup> Мы знаем, что мечта Анатолия Ивановича — стать писателем-прозаиком — отчасти осуществилась: не состоявшаяся в жанре романа, она нашла свое воплощение в сугубо научном творчестве. Написанные Батюто статьи и книги — весомое тому подтверждение. И этому абсолютно не противоречит желание автора дневника овладеть на первых порах поэтическим искусством: найденные и уже опубликованные нами не столь многочисленные стихи также свидетельствуют в пользу их создателя.<sup>3</sup>

Нельзя не сказать несколько слов о достоинствах дневника. В нем нашло отражение постепенное формирование личности конкретного человека, что уже само по себе интересно. Это своего рода часть, несколько глав истории одной жизни, написанные самим героем. Нас не должно смущать, что иногда, под влиянием настроения, дневнику и самому себе дается уничижительная оценка. Пожалуй, мы не найдем ни одного места, где бы автор попытался выставить себя с наиболее выгодной стороны. И это не может не подкупать. Со страниц дневника смотрят, как живые, многие ушедшие от нас люди. Они, эти люди, обрисованы скупо, но необыкновенно достоверно. И не имеет большого значения, друзья ли это детства, руководители литературного кружка или профессора университета, студенты-однокурсники или аспиранты. С большой теплотой пишет автор о своем научном руководителе — профессоре Ленинградского университета (самом молодом докторе наук, как о нем говорилось в Пушкинском Доме) Григории Абрамовиче Бялом, сумевшем разглядеть уже в студенте будущего ученого-исследователя.

Дневник сохранился за 1936—1939, 1942—1944, 1947—1952 годы. Писался он не всегда регулярно. Иногда записи велись ежедневно, а иногда между ними виден значительный — в несколько месяцев или даже лет — перерыв. Под влиянием настроения что-то было уничтожено самим автором (так случилось с дневником за 1935 г.), что-то, увы, не сохранило время: такая судьба постигла дневник за 1940 год. География, затронутая в дневнике, достаточно широка: Ленинград предвоенный, Унеча — родина автора, Ленинградский фронт (южный берег Финского залива, район Лебяжьего, Борок, Ораниенбаума), госпиталь — Ленинград и Вологодская обл., Печаткино, Средняя Азия — Узбекистан (Ташкент), Киргизия (Джалал-Абад, Ош), Ростов-на-Дону и снова Ленинград, уже послевоенный. Но и в таком неполном виде он представляет собой прежде всего литературно-художественный материал, отражающий личные впечатления автора от прочитанных книг, встреченных людей, переживаемых им и страной событий, размышления о литературном процессе. В этом последнем смысле он превращается в достоверный человеческий и исторический документ с необходимыми авторскими комментариями.

Мне хочется выразить искреннюю благодарность первым читателям и доброжелательным, но строгим критикам, ознакомившимся с рукописью дневника: друзьям и коллегам автора по Институту русской литературы (Пушкинскому Дому) РАН: кандидатам филологических наук *И. А. Битюговой*, оказавшей неоценимую помощь при подготовке рукописи к изданию, и *Л. И. Кузьминой*; *М. Д. Кондратьеву*; докторам филологических наук *Н. П. Генераловой* и *А. А. Горелову*. Особую благодарность публикатор выражает доктору филологических наук *Б. Ф. Егорову* (Санкт-Петербургский институт истории РАН).

<sup>2</sup> См.: Там же. С. 931—935. Приложение I.

<sup>3</sup> См.: Там же. С. 936—941. Приложение II.

Для настоящей публикации выбраны заключительные записи. Их автор, закончив Ленинградский университет, стал аспирантом Пушкинского Дома (1949—1951) и успешно защитил кандидатскую диссертацию (1952).

Итак, предоставим слово автору дневника.

1949

15/VI—49.

Еще раз решил возобновить дневник. Для сей цели специально купил общую тетрадь с толстыми листами в узкую линейку. Не писал я ни много ни мало — почти полгода. Все это время прошло в однообразной и изнуряющей борьбе за пребывание в аспирантуре. Подведу краткий итог.

В октябре прошлого года последний вступительный экзамен по франц<узскому> языку провалил с треском. Документы в Москву, однако, были посланы, и нас (провалившихся было двое) в институте все время обнадеживали. В конце концов кончилось тем, что разрешили переэкзаменовку и я сдал. Утвердили с 20-го янв<аря>; утверждение пришло в конце февраля; с 1-го марта приступил к занятиям. После нескольких дней покоя в институте началась революция. Принялись громить так наз<ываемых> космополитов, формалистов, компаративистов и прочих извергов человечества. Сначала это произошло в ун<иверсите>те. Нет нужды подробно на этом останавливаться, скажу только, что, как это ни странно, коснулось и моей персоны. Мой прошлогодний оппонент, в прошлом же году испеченный кандидат, некто Б<ердников>,<sup>1</sup> ставший ныне деканом филфака и его духовным вождем на стезе идеологической, в своем программном выступлении упомянул мою дипломную, назвав ее «путаной, насквозь формалистической и идеологически вредной». Мне сразу же стало ясно: это начало новой полосы злоключений. Вскоре в нашем институте уволили 4-х профессоров (все евреи) и в том числе самого директора, который мне, благодаря Б<яло>му,<sup>2</sup> симпатизировал. Приехал новый дирек-



А. И. Батюто. 1948 г.

<sup>1</sup> Речь идет о Бердникове Георгии Петровиче (1915—1996), будущем докторе филологических наук и чл.-корр. РАН (1991), специалисте по творчеству Чехова.

<sup>2</sup> Имеется в виду Бялый Григорий Абрамович (1905—1987) — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы ЛГУ. В ИРЛИ работал стар-

тор из Москвы,<sup>3</sup> существо многим не понравившееся, и принялся трясти институт сверху донизу. На произв<одственном> совещании аспирантов у меня с ним произошла словесная перепалка. Затем стали ходить слухи о недовольстве верхов (новых верхов, т<ак> сказать, новой знати) аспирантами вообще и сугубом их недовольстве аспирантами нового набора в особенности. Были названы фамилии висящих на волоске, в том числе и моя. Нужно признаться, я основательно трусил и вообще производил жалкое впечатление. Пребывание в аспирантуре я с некоторых пор почему-то стал считать манной небесной; кроме того, в случае изгнания у меня не хватило бы настойчивости искать какого-нибудь занятия. Перед глазами у меня маячило неутешительное видение последних предвоенных лет, когда оконч<ательно> опуститься мне помешала, сама того не желая, армия. Нужно было и заниматься и постоянно думать о том, что с минуту на минуту могут выставить за дверь, как школьника. Все это время отношение к нам было вежливо-издевательское и пренебрежительное. То как будто совсем забудут о нашем существовании, то вдруг начинают преследовать очень грубо. Было много несправедливостей, но дошло до того, что я решил терпеть все, лишь бы не вылететь. В общем, было много жалких печалей и досадных унижений. Вчера произошло последнее тайное заседание верхов, посвященное обсуждению наших дел. Исключили одну девицу, поступавшую со мною, а меня и еще одного парня оставили в покое, даже не позвав (вызывали поодиночке), но выдержав несколько часов в коридоре. Вышел новый заместитель директора, ласково потрепал по плечу приятеля (приятель — сын предс<едателя> Лен<инградского> отд<еления> союза писателей<sup>4</sup>), благосклонно кивнул мне и произнес отеческое напутствие: «Идите домой». Все кончилось.

В тот же день я сдавал первый экзамен по канд<идатскому> минимуму. Отвечал очень плохо. В числе экзаменаторов был один молодой профессор,<sup>5</sup> которому я три года назад состряпал очень плохую семинарскую работу. Он относится ко мне, однако же, хорошо, благодаря все тому же Б<яло>му. Правда, в его ласковом обращении я не раз замечал что-то небрежное и снисходительное. Я чувствовал, что он не забывает моих былых художеств, и на этом экзамене хотел реабилитироваться. Но не удалось. Отвечал я мерзко, и если бы экзаменаторы предварительно не были подготовлены Б<ялы>м, являющимся в какой-то степени другом для них, по крайней мере для младшего, поставили бы мне двойку. А так ответ мой оценили на четыре. Таким образом, хо-

---

шим научным сотрудником. Специалист по творчеству В. М. Гаршина, И. С. Тургенева, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, Н. К. Михайловского.

<sup>3</sup> Имеется в виду *Бельчиков Николай Федорович* (1890—1979), чл.-корр. АН СССР (1953), в 1949—1955 гг. — директор ИРЛИ.

<sup>4</sup> Точнее, первого секретаря Правления ленинградской писательской организации А. А. Прокофьева (1900—1971).

<sup>5</sup> Речь, вероятно, идет о Николае Ивановиче Мордовченко.

тя «покою сердце и просит», но оно его нет и нет. Мне редко везет на экзаменах.

23-го мне предстоит сдавать минимум по франц<узскому>. Преподавательница говорит, что я сделал большие успехи, что у меня способности, интуиция, верное чувство языка и т. д. и т. п., но, наученный горьким опытом, розовыми надеждами себя не тешу. Все может быть. Нужно сдать на пятерку, дотянуть до первого, а там забыть институт до сентября, отдохнуть как следует.

Все это время при каждом посещении института я ожидал неприятных сюрпризов. Теперь к этим неприятностям прибавляется стыд. В сюрпризе я мог обвинять кого угодно, а вот в результатах последнего экзамена обвинять некого.

Часто приходит в голову мысль: аспирантура — дело не мое. Но что еще делать я могу? Школы не хочется, особых талантов в какой-нибудь другой области я упорно не обнаруживаю, и в итоге остается один выход: потрудившись три года, стать добросовестным и, по-видимому, сероватым все-таки, средненьким научным работником. Это как раз то, о чем свидетельствовали и свидетельствуют факты — упрямая вещь, как говорят. По-видимому, в этой тетради мне мало придется писать о своих «ученых» занятиях. Посмотрим, придется ли писать о чем-либо более интересном.

#### 24 июня.

Вчера сдавал кандидатский по франц<узскому> яз<ыку>, получил пятерку. Самое любопытное в этом экзамене было то, что письменная работа (перевод) и устная — чтение и перевод без словаря прошли без единой ошибки.

Я давно мечтал совершенствоваться во франц<узском> яз<ыке>. Теперь к этому прибавляется еще и английский. Что может быть приятнее и конкретнее знания одного-двух языков? Конечно, я не рассчитываю изучить их в совершенстве, но читать и переводить свободно, без словаря — этого можно добиться.

Вчера же в кино встретил приятеля почти десятилетней давности, с которым вместе служил в Кронштадте. Койки наши стояли рядом. Тогда он был полуробенком... Теперь работает на заводе механиком по связи, как он говорит, делая значительное ударение на последнем слове. Такая же судьба, если не хуже, ожидала и меня, и я давно уже думаю, что ампутация ноги, компенсированная, однако же, университетом и всем отсюда вытекающим, — великий дар, неожиданно свалившийся с небес на мою голову.

В институт езжу только к случаю. До отпуска осталось шесть дней, а через десять дней я должен уехать почти на месяц в дом отдыха на Сиверской. Жалко, погода стоит мерзкая, настолько мерзкая, что нос высунуть на улицу страшно: холод и дождь, солнца совсем нет. <...>

Каждое посещение института совершаю с замиранием сердца: вдруг сообщат об изгнании? Когда там бываю, всегда мне «кажется» что-нибудь неприятное. Сегодня ездил получать отпускные. Говорят, не будет до 7-го, а мне четвертого уезжать. Но дело не в этом, — дело в том, что, следовательно, еще полмесяца у меня душа не будет спокойной. Деньги придется получать (или не получать) Д., потом она должна будет еще раскататься на письмо или телеграмму, потом это письмо или телеграмма будут раскачиваться в багажном вагоне и т. д. и т. п.

Вот образчик нравов институтского начальства. Нору<sup>6</sup> исключили из числа аспирантов, мотивируя сей акт отсутствием у нее способностей официально и тайно, не выражая же ни единым намеком, — ибо в нашей стране даже мысли не может возникнуть об антисемитизме, — еврейским происхождением. Она решила ехать в Москву. Те, с кем она советовалась, в том числе и профессора из порядочных, говорили ей, что поездка в Москву — бесполезное дело, что теперь уже все равно ничего хорошего не выйдет. Она, однако же, поехала и, пробыв там две недели, вернувшись, рассказала вот что.<sup>7</sup>

#### 14 июля. <Сиверская>

Уже прожил одну смену в доме отдыха на Сиверской. В общем, этот полурастительный образ жизни мне еще не надоел. Правда, бывают такие дни, как сегодня, полные грусти и неотвязных дум о смерти, о неизбежном конце. Откуда это берется? Приходит оно по вечерам, полетнему темноватым и теплым. Речка в отвесных берегах мерцает темновато и ровно, как зеркало, мошки выют столбом в последних лучах закатного солнца, где-нибудь на той стороне надоедливо и упорно блеют козы, негромкими голосами переговариваются люди. Сидишь на берегу, смотришь, слушаешь и чувствуешь себя одиноким, как никогда. Лень сковывает тело, не хочется шевелиться ни одним членом, а в мозгу одна мысль, в сердце одно чувство, знакомые и привычные, как биение пульса: это было, это будет, а тебя скоро не будет; ты, как мошка в редком свете закатного солнца, отживешь только свой краткий миг, уступая дорогу другим, неизвестным людям, которые так легко без тебя обойдутся. Природа — мать, но мать жестокая. Мы — ее дети, нас очень много, мы каждый день умираем тысячами, а ей и горя мало... <...>

Сегодня целый день ждал приезда Д. Звонил сегодня утром на работу к ней, сказали, что она поехала ко мне утром. Однако она не приехала ни утром, ни вечером, а я вконец изломал свою большую ногу, выходя довольно далеко навстречу.

Поступает она со мной нехорошо. До сих пор ничего не сообщила о моих институтских делах. Сегодня отъездно-приездный день. Кончилась одна смена, начинается другая. Вновь приехавшие ходят по бере-

<sup>6</sup> Имеется в виду Л. А. Гессен.

<sup>7</sup> Далее в тексте дневника изъятые две страницы.

гу, задрал голову. Гости на первых порах все одинаковы в смысле поведения. Я ходил и смотрел точно так же.

## 18 июля.

Вторая смена в д<оме> о<тдыха> проходит совсем скучно. На веранде, где я сплю, четырнадцать коек. Заняты они сопящими полустаричками, солидными, флегматичными и нудными собственниками. Последним хочется дать в морду, настолько отвратительный и мелочный характер являет в них принцип собственности. Почти все друг друга боятся: а вдруг сосед по койке вор и не дай боже украдет зубную щетку? В первой смене народ был веселый, общительный, невинно-похабный, а эти спят, жрут и ни в чем не теряют тупой солидности до предела ограниченных людей, даже в разговорах о женщинах. Последние также не блещут, и вообще все с каждым днем настолько утрачивает всякое даже подобие блеска, что хочется домой. А дома? С сентября опять мечтать о летнем отпуске? Пятнадцатого приезжала Д. Показалась красивой. Приятно провели вместе полдня. Мечтали следующим летом поехать на юг. Мне в первый раз хотелось от нее ребенка. Но не рано ли и не обольщаюсь ли я на ее счет? Вчера уехала в Ростов — в отпуск.

Дела с институтом до осени можно считать благополучными. С осени хочу как следует приняться за работу. Не флегматик ли я? В моем положении писать не о чем или мне в любом положении писать не о чем? Вопрос для «автора» остается неясным.

До осени куча свободного времени, но зато деньги очень мало; следственно, из развлечений останется только одно — читать книги.

<...> Прогремит, проскачет тройка вороных — и только ленивые завитки пыли на дороге да легкий ароматец сена в воздухе...

Я — как старик: люблю потравить душу воспоминаниями. Один неуместный вопрос: что такое советский народ? По-моему, семьдесят процентов — обыватель. Но не больше ли? В доме отдыха много грубых девиц, почти подростков, и жадных, внешне безобразных мужчин и женщин. Женщины особенно безобразны.

Маленькое, но прочное счастье — иметь собственный угол, куда в любую минуту можно удалиться, чтобы утишить там потревоженное чувство гадливости и скуку. Временами я становлюсь ипихондриком. Среда одно — выжидательно помалкивать.

А все-таки насколько иногда женщина чище и человечнее мужчины! Сегодня к одному типу пришла жена из другого павильона. Пришла она с чистеньким бидончиком молока — для мужа. Муж — в очках, жердеобразный и сутулый, выразил неудовольствие: как? Ему, такому большому и важному, приносят молоко; приносит его некрасивая жена, да еще при свидетелях, которые могут заметить ее некрасивость! Муж начал недвусмысленно и настойчиво держать путь в лес, подальше от греха, а жена, пожилая блондинка с узкой спиной и покрасневшими от смущения кончиками ушей, покорно проследовала за

ним, домовито позвякивая бидончиком и робко (звук ее голоса мужу, наверное, казался слишком громким) называя его по имени: Вова. Вова для нее всю жизнь будет Вовой, но интересно, как он ее называет?

#### 24/VII—49.

Домой! Домой! Это главное, о чем думаю. Кое-что прочел. Оторванность от общекультурных интересов начинает меня пугать. Так можно докатиться до того, что забудешь не только о том, что и как написали Тургенев и Толстой, но и — в каком городе живешь. Как-то я лежал на пляже и тренировался в припоминании лиц и имен нашей институтской профессуры. Результат оказался смехотворно-неутешительным. Т. е. меня прочно притягивает к себе наклонная, на нижнем конце которой покоится страна под названием забвение.

Каждая новая книга меня сильно возбуждает, но вслед за этим наступает глухая депрессия, и когда на смену первой книге появляется вторая, я могу забыть, что было в первой. Это очень плохо и часто пугает. Прочел же очень мало. Всю первую смену мусолил незнакомый том Салтыкова-Щедринина и насилу домусолил. Потом принялся за «Домби и сына». Эта книга многими страницами доставила много удовольствия, я ее почел за самое сильное у Диккенса. Но впечатление от нее какое-то объективистское, недостаточно терпкое. Потом — Вилис Лацис — «Сын рыбака». В общем понравилась и задела. Талантливая книжка обычно приносит успокоение и желание жить. Эта книжка — одна из тех, которые хороши тем, что открывают неограниченный простор дополнений и произвольных вариаций. Неглубокая, но заставляющая шевелиться. Между прочим, интимная жизнь двух главных героев пробудила во мне ревнивца. Опять этот до последнего винтика банальный и пошлый, а все же поистине мучительный вопрос: изменяет мне жена или нет? На помощь обычно приходит логика и, конечно, помогает разрешить вопрос, но не помогает мне. Д., наверное, считает меня человеком недалеким и слабым, с которым ничего особенного и не случится, если ему изменять по временам. <...>

Иногда к отдыхающим приезжают мужья, жены. Видел на пляже, как вела себя одна такая пара, и позавидовал бесплодной завистью. Почему у других это получается как-то не так, как у нас? Неужели мы такие уроды? Или это только впечатление, порожденное все той же завистью и не совсем чистым воображением человека с большим досугом, который некуда ухлопать?

А жизнь идет. Скоро уже тридцать. Мне в жизни нужно что-нибудь подстегивающее, нужен азарт, цель. Иначе я тряпка. <...> Главное, чего я сейчас хочу, — женская любовь, но ведь эта любовь бывает и скотской. Чего-то большего хочется, красивого. С каждым годом становлюсь угловатее, неповоротливее, старше. Многое покрылось ржавчиной, многое покрывается. Нужен ремонт, чистка. Но, как известно, некоторые люди не оправдывают издержек на их чистку, и таких людей обычно оставляют в покое, пока время не сделает их настоящими жи-



вотными во всех отношениях. Во всяком случае знаю одно: помочь себе я должен сам. Если человек не проявляет в этом отношении способности, никто ему не поможет.

### 31/VIII—49.

Прочел несколько книг, почти все хорошие. «Король евская» кровь» Синклера Льюиса и «Каждый умирает в одиночку» Фаллады. Обе очень талантливо написаны, вторая в особенности. Автор первой — писатель-борец по преимуществу, в Фалладе же проглядывает из каждой строчки искренний и большой художник. Синклер Льюис тенденциозным не показался, есть только небольшой налет сухости. Разумеется, положение негров не может не трогать человека, умеющего с такой силой таланта писать о нем, но у него сама проблема довлеет над изображением человека. Синклер подошел умом к своему материалу, Фаллада — сердцем. У него — крик сердца, крик пострадавших нервов и личный опыт. У первого много динамики, у второго к этому прибавляется еще один симпатичный плюс — психологизм, создающий ту замедленность картины, которая так необходима большому произведению. Роман Синклера разворачивается очень быстро, в героев, не успешных влюбиться, да, пожалуй, в них и невозможно влюбиться, потому что, как я уже сказал, не они занимают главное место, проблема обрабатывается только умом.

Десятка два рассказов Д. Конрада («Фрейя семи островов» и еще один небольшой сборник). Есть Грин, есть Д. Лондон. Чтобы стать ровень с Грином, Конраду не хватает красоты фантазии (я говорю о фантазии, потому что какой-то налет фантазии и экзотики, очень незначительный, неакцентированный, в Конраде чувствуется), полета, а чтобы сравняться с Лондоном — не хватает сочности любви к жизни.

Т. Гарди — «Тэсс из рода д'Эрбервилль». В предисловии приводит фраза из письма Гарди: «Писатель, в большинстве случаев, достигает высот вдохновения, изображая странствование и пробуждение душ, не примиренных с жизнью, тогда как правительство стремится внушить довольство жизнью — такую, какова она есть». Какой из наших теперешних литературных китов способен на такую искренность и способны ли наши вообще на искренность до конца? Я люблю художников XIX века за их последовательную глубокую объективность. Если они заблуждались — заблуждались искренно. Жизнь для них была глубочайшим, часто таинственным источником, из которого они щедро черпали, никогда его не истощая. Чем богаче жизнь и разнообразнее, тем большее удовольствие они получали, знакомясь с нею.

Гарди очень нравится. Трагичность, пессимизм его мирозерцания, о котором пишет автор предисловия, меня не пугает. У него нет надломленности и извращений. Просто — люди, здоровые, живые, безыскусственные, существование которых складывается неудачно. Читатель фиксирует свое внимание не на результате, а на всем потоке изображаемого.

«Буря» Вилиса Лациса. Раньше я читал его же «Сын рыбака», и она мне больше понравилась; там больше правды и нет тенденциозности и льстивых дифирамбов по адресу всего советского, дифирамбов, часто носящих декларативный характер. Вообще все повествование, особенно начало и конец, часто сбивается на декларацию, картина уступает место подозрительно-усердным авторским высказываниям. Много «глубоких и разнообразных» идей и рассуждений, делаемых всегда с оглядкой, с оглядкой, например, на «Краткий курс».

Латвийская интеллигенция превратилась у него в компанию бледных болтливых дурачков, и эта бледность, отсутствие глубины и серьезности свидетельствуют или о торопливости и плохом знакомстве с материалом (недостаточно добросовестном), или о соответствующих качествах самого автора. Но скорее всего это все тот же пуризм и ограниченность, вызванные на свет божий слишком рьяной тенденциозностью. Скажут: писатель-борец, человек партийный, представитель социалистического реализма. Так-то оно так, но Горький, например, и Островский тоже были борцами и представителями социалистического реализма, но они почему-то не вызывают раздражения, совсем наоборот. Горький и Островский жили тем, что писали, чего не скажешь о Лацисе. И человека у Лациса нет, не говоря уже о характерах. Нет архитектурной сложности в изображении. Одни прямые, подчас угнетающе-холодные линии. И эта «Буря» будет иметь продолжение. Я прочел толстый томище, а выйдут, по крайней мере, еще два-три таких же по объему продолжения.

Завтра приступаю к продолжению своей аспирантской карьеры. Отдохнул хорошо. Хочется заниматься. Только опять начинаю побаиваться. И мучит меня пренебрежительное отношение кое-кого из профессоров.

### 3/IX—49.

Недавно вышла документальная картина «Последний путь», в которой показаны похороны Димитрова. Картина произвела на меня очень сильное впечатление. Доходчиво почувствовал старость и увядание. Страшно и жалко было смотреть на Сталина. Когда он стоял в почетном карауле у гроба, казалось, достаточно малейшего толчка и он не рассыплется, а развеется легкой пылью, уходящей в небо. Полная фигура казалась невесомой и неуверенно-бесплотной, взгляд, стекляннопозрачный, как осенний пруд в безветрие, устало отдыхал, уставясь в одну точку. Что он должен был думать, глядя на мертвого человека с черными усами, придающими лицу какую-то старомодную прелесть, не лишенную мужества и изящества, соединенных вместе? Наверно, думал такое, о чем человеку, занимающему главный пост в государственном механизме, нельзя говорить никому. Из всего партийного руководства только Сталин кажется по-настоящему самостоятельным, ни от кого не зависящим. Я его считаю крупным, но благородным человеком; остальные ни в коей мере не могут идти с ним в сравнение.

В похоронах, в том, как хоронят, я всегда замечал что-нибудь оскорбительное для умершего. Часто сквозь формальность обряда, сквозь похоронный этикет, совершаемый большими массами людей, проглядывают равнодушие, любопытство праздное, торопливое желание все кончить.

По пути следования состава с телом комиссия по организ<ации> похорон во главе с Ворошиловым заученно и однообразно выходила на перрон, пожимала руки пришедшим проститься. Хмурые массы народа стояли вдоль ж/д полотна, на перронах, на крышах домов, гроздьями висели на телеграфных столбах. И все молчали. Смерть любого человека, даже незнакомого, никому неизвестного, вызывает задумчивость, печальное уважение и жалость — к умершему и почти всегда к себе, ко всем людям. В этой жалости нет ничего эгоистического, в ней видно трагическое чувство, чувство космоса, обернувшегося к людям своей зияюще-страшной стороной. Такое чувство не может быть продолжительным, не теряя своей искренности, ибо слишком непосильно своей интенсивностью.

У Ворошилова подагрическая походка и отекавшее лицо пьяницы. Он шел вдоль рядов людей и пожимал руки. Один раз не выдержал и поцеловал торопливо ручки ребенка, сидевшего на руках у плачущей женщины. Много было старушек, молчаливых, напоминающих своими согбенными, печальными позами и чернотой одежд больных галок. Ворошилов заскорузлым, резким движением плохо слушающихся рук брал, как чурки, их головы и куда попало и часто целовал — в затылок, щеки, платки, уши...

Встреча в Болгарии была действительно скорбной. А Россия, раздтая, притихшая, опаленная июльским зноем, усеянная толпами хмурых, усталых людей? Все та же Россия — мало изменившаяся за тридцать лет. Перемены нужно проверять по людям. Живут, борются, устают, доживают — такова судьба многих людей; таким мне показался Ворошилов.

#### 24/IX—49.

Сейчас выполняю очередную аспирантскую повинность — готовлю минимум по Чернышевскому — эстетику и литературную критику. За день успеваю так мало, что уже сейчас, задолго до сдачи, начинаю тревожиться; но зато почти каждая статья прочитывается с большим удовольствием. Я вижу в Чернышевском очень умного человека, но о любви к нему говорить затрудняюсь. Впрочем, нельзя сказать, чтобы я не испытывал к нему любви потому, например, что люблю Тургенева, человека враждебного ему по убеждениям. Чернышевский восхищает умом и энергией, но вызывает также почти тоскливое чувство, потому что, как никто другой, позволяет заглянуть за кулисы литературы, особыми прелестями не отличающиеся.

Большинство идей, которыми мы сейчас питаемся (в литературе), высказано Белинским, Чернышевским и Добролюбовым. Если к зна-

нию их критики, того, что они критикуют, прибавить еще кое-какой *entourage*, то можно чувствовать себя в науке как рыба в воде. Будучи студентом, я часто завидовал уму профессоров, слушая их лекции, а теперь вижу, что их ум — занятой ум, все взято у других. При нормальном образе жизни, достаточном трудолюбии и осторожности можно стать таким же. Может быть, у меня выработался холодный взгляд на вещи и тогда моя литературоведческая «деятельность» станет очень спокойным ремеслом, на фоне которого вырастут другие, более живые интересы. Самое милое дело — не копаться в прошлом, а жить непосредственной жизнью, настоящим. Но — «не так живи, как хочется». Люди живут плохо, скудно. Неужели во всем мире так? Живем в страшное время. Перевелись люди, умеющие говорить что думают. Все запуганы, ждут, терпят, существуют.

**6 октября.**

Читаю дневник Чернышевского. Почему-то возникает аналогия с Гоголем, и довольно неприятная. Гоголя, как человека, я считаю личностью довольно темной и, во всяком случае, нездоровой. Гоголь и Достоевский кажутся людьми грязноватыми, порочными. Трусость, извращенность чувств, истеричность, заносчиво-жалкие и мелочные мыслишки о собственном величии, постоянное стремление видеть во всех прочих людях болезненные страсти и дурные наклонности. Тягучие проспекты о добре и зле, слащавость, какая-то золотушность в картинах — вот что мне представляется, когда читаю Гоголя и Достоевского, и приблизительно такое же впечатление от дневника Чернышевского. По уму, конечно, они не маленькие люди, но что толку? С такими людьми общаться было бы противно. Такие люди много умеют и любят говорить, но мужества в действии проявляют мало, и, во всяком случае, мужество достается им нелегко. Пушкин был широкой натурой, человеком со светлым взглядом на жизнь, а у Достоевских и Чернышевских — хрустальные дворцы на подтаявшем сахарном фундаменте, суettливое сюсюканье.

Пушкин играл азартно в карты, а у этих пороку не хватило бы. Может быть, это смешной и неудачный пример, но мне он кажется очень характерным. Пушкин — свет и здоровье, Лермонтов и Лондон — сила, а здесь черт знает что.

Я не умею дневник наполнять мелочами дня. Но хочу попробовать. Мне нужна какая-то отдушина, какое-то постороннее утешение, потому что деловая моя жизнь, если ее так можно назвать, складывается неудачно. Попробую вести дневник день за днем, ничего не выдумывая, не надываясь высосанными из пальца мыслями. Буду говорить об институтских делах (скорее всего это будут только впечатления, но черт с ними, пусть хоть так) и всех прочих не от случая к случаю, а непосредственно, по живому следу.

Вчера было заседание нашего сектора. Слушались отчеты сотрудников и аспирантов (письменные). На официальные сборища в инсти-

тут я хожу с тяжелым сердцем и всегда неловко себя чувствую. Неловко потому, что не люблю встречаться теми, кто был свидетелем моего позора на прошлом экзамене. Я подозреваю, что некоторые люди считают меня случайным гостем в институте, человеком, занимающим не свое место, чем-то вроде бездарного маменькиного сынка, за маменьку у которого — проф. Бялый.

Я держусь особняком и здороваюсь со многими только тогда, когда не поздороваться никак нельзя. Я считаю так: друзей и приятелей у меня там нет, а раскланиваться с людьми только потому, что они доктора или кандидаты, а я — аспирант, — незачем. Они меня не знают, я их не знаю — чего же еще? Раскланиваться с человеком незнакомым или по крайней мере с тем, кому официально не представлен, по-моему, это похоже на заискивание. Но не знакомы не все, а я часто и с этими не раскланиваюсь. Это уж потому, что они знают о моем провале, и встречаться с ними мне неловко. Почти всюду, даже в культурной среде, над слабым и неумелым смеются. Вчера посмеялись над одним аспирантом-второкурсником. Парень недалеко и толстокож, а смеялись над ним только некоторые, нехорошие из них, которым важно обрести прочное положение. Они и обретают, как им кажется, за счет чужой слабости. Парень мне не нравится; знаний мало, как и у большинства, но кроме того, совершенно лишен мысли, безыдеен, как говорят, и пришел он сюда в поисках теплого будущего. До сих пор у него не выбрана тема диссертации, а времени до оконч<ания> осталось только полтора года. Руководитель у него Десницкий,<sup>8</sup> старый и жесткий сухарь, пропитанный, однако ж, ехидством. Это человек старого закала, и все новое ему не нравится; советскую лит<ерату>ру (по-моему, справедливо) считает не заслуживающей особого уважения. Говорят, однажды в ун<иверси-те>те на каком-то заседании, где много говорилось похвального о сов<етской> литературе, он сказал что-то в этом роде: «А это всеобщее бла-го-лепие в сов<етской> лит<ерату>ре — это тоже хорошо, по-вашему?». Говорилось это два—два с половиной года тому назад, когда еще не было особых строгостей. Так вот, у этого человека в отношении к аспирантам есть принцип один, жестковатый, но не лишенный, по-моему, логики. Он предоставляет аспиранта собственным силам: пусть карабкается сам, а я посмотрю; выкарабкается — хорошо, а нет — туда и дорога. Когда этот его принцип весело комментировался, сам старик заглянул в дверь и скрылся. За ним побежал этот парень и привел. Старик сел, не снимая шляпы, даже мальчишески озорным жестом надвинул ее поглубже на лоб:

— Ну-те-с, ну-те-с, что еще...

— Вас<илий> Алексеич, вот мы узнали, вы — руководитель т. Е.

---

<sup>8</sup> Десницкий Василий Алексеевич (1878—1958) — доктор филологических наук, профессор, с 1918 по 1951 гг. преподавал в ЛГУ, зав. каф. истории русской литературы, в ИРЛИ — с 1935 г. на разных должностях.

— М-да... Я, знаете, очень загружен. Избавьте, отказываюсь. Ваше решение для меня — фьють! — Он щелкнул пальцами и поднялся.

Б<орис> И<ванович> Б<урсов><sup>9</sup> заторопился, почти отчаянным голосом возопив:

— Но, Вас<илий> Ал<ексеевич>, это не наше решение, это решение подписано дирекцией!

Старик весь превратился в лукавство и ехидство; стал говорить медленно, небрежно роняя слова:

— Подписано? Решено? Ну, что ж, еще подпишут, еще решат. Бумага, братцы, терпит... Ну, я уйду, — и засеменил к двери, придерживая шляпу, как от ветра.

Б<орис> И<ванович> опять взмолился, совершенно растерявшись:

— Вас<илий> Ал<ексеевич>, так Вы... уходите? Совсем?

— Да... Уйду. Совсем. — И ушел.

Это было оч<ень> забавно. Добродушно посмеялись. Вообще у нас на секторе это добродушие процветает.

Были предложены письменные отчеты всех аспирантов, кроме моего. Я о том, что нужно подавать письменный отчет (в начале сентября был устный), услышал в первый раз и был удивлен. Секретарь, натянуто улыбаясь, пояснил: «Анатолий Иванович так редко бывает в институте, что я не имел возможности предупредить его». Тут за меня вступились; он вяло извинился. Положительно, он считает, что я где-то работаю на стороне, а в институт приезжаю только за стипендией.

После сектора с Григ<орием> Абр<амовичем> уточняли тему. Он сказал, что и он и зав. сектором на следующем Ученом совете будут отстаивать тему (по Тургеневу). Против темы высказался Пиксанов — член-корреспондент, и директор (Н. Ф. Бельчиков. — С. Б.), и высказались они против темы именно в такой формулировке, на которой сейчас настаивается. Мне это показалось странным, потому что формулировку мы сами подгоняли под согласие (возможное) этих китов, а тут неожиданное возвращение. Спорить не стал. Да и разговор этот носил характер торопливый, Григ<орий> Абр<амович> даже похлопал фамильярно по плечу, что мне уж совсем не понравилось. Потом мы вместе подошли к завед<ующему> сектором, и, когда подходили, тот понимающе улыбнулся (дескать, вот, маменька ведет сынка к сильному мира сего. Маменька — ладно, маменька хороша, а сынок — не совсем). Проконсультировались насчет темы для семинарского доклада. В декабре будет доклад — «Тургенев в оценке Чернышевского».

Возвращался домой один. Обычно я еду остановку на троллейбусе. Так как на остановке стоял почти весь сектор (без аспирантов), я прошел мимо. Кто-то из них крикнул, может быть, по моему адресу.

Вечером дома произошел скандал с сестрой, оба освирепели до отращения. Я паясничал и задел ее решетом (можно ли решетом причи-

<sup>9</sup> Бурсов Борис Иванович (1905—1997) — доктор филологических наук (1951), в 1949—1954 гг. — и. о. зав. Сектором новой русской литературы.

нить боль?). Она ударила довольно сильно по голове доской, на которой режут мясо. Все-таки — доска. Но меня оскорбила не доска, а злость и грубость, совершенно неоправданные. Поругались. В таких ссорах противники сгоряча часто высказывают именно то, что думают, не обязательно в связи с обстоятельствами дела. <...> Дескать, ты, братец, на поводе у жены и потому ты дрянь. Дрянная, по-моему, логика. После таких ссор я надолго перестаю уважать противника и себя заодно.

Сегодня на англ<ийском> я захотел пересесть от девиц к мужчинам. Пересел. Тот, с которым сидел рядом, возмутился:

— Не буду с вами сидеть. От вас очень сильно пахнет табаком, а я табака не переносю.

Смутились все. Я почти не потерялся, но неприятно все-таки было.

Холодно. Сегодня не занимался. После англ<ийского> был подряд на 2-х кинокартинах. Одна ничего, вторая — я ее смотрел во вторую очередь — противна. В кино я хожу, как мещанин — для развлечения. Развлечение мне нужно, чтобы не думать о своих неважных делах.

Дома тоже холодно. Дрожал под одеялом часа три, потом почитал немного Чернышевского. Сейчас уже ночь. Видимо, не стоило так писать о Чернышевском. Но одно остается достоверным в моем впечатлении: как люди Гоголь, Достоевский и Чернышевский не нравятся. Хуже всего то, что проходит жизнь. Счастье — принимать непосредственное участие в жизни. Этого счастья у меня нет. Мой удел — «изучать» прошлое, не живя настоящим, и это печально. Замороченное существование. Мне бы хотелось в далекие страны, к пальмам, горячему песку, сизо-голубому морю, к людям и отношениям, не стесненным ни одеждой, ни климатом, ни этой слишком длинной цепью условностей и обязанностей, по которой до участия в жизни никогда и не добираются.

Общество и наше и зарубежное не выдерживают критики в том отнош<ении>, что люди, их составляющие, не живут по желанию, а живут по обязанности, делают не то, что хотят, а то, что нужно. Но в большинстве случаев получается так, что дела, о которых официально афишируется как о делах, благотельных для всего общества, не удовлетворяют отдельного человека. У нас жизнь делается по долгу, а не по желанию. Потому люди бесцветны, скучны, совершенно лишены непосредственности чувства и мысли.

### <Без даты>

Числа в начале записи не ставлю, потому что не знаю, какое сегодня число; дома только я один, спросить не у кого.

За это время в институте было 2 семинара, следовательно, прошло две недели. Т<аким> обр<азом>, мое желание писать дневник ежедневно не сбывается.

На семинаре у нас сейчас идут доклады, построенные на материале диссертации (будущей, конечно). Я оба раза выступал и оба раза успешно, в особенности в последний раз. Там присутствовал самый

большой в наст<оящее> вр<емя> некрасовед, массивный старичина с седыми усами и бородой, и он меня похвалил, и не только похвалил, но и согласился со мной.<sup>10</sup> Это меня несколько приободрило. Во всяком случае, я себя почувствовал сильнее большинства аспирантов если не по количеству знаний, то по способности правильно разбирать литературные вопросы, не плетясь на поводу у людей авторитетных.

Подготовка очередного минимума идет туговато. Много времени у меня уходит на разъезды, которые ломают день. Только вторник могу целиком посвящать занятиям дома. Все остальные дни езжу, и очень далеко: три дня в институт, и эти поездки не имеют прямого отнош<ения> к минимуму, и два раза на англ<ийский> яз<ык> — совсем далеко. Несмотря на недостаток времени, поигрываю все-таки в шахматы.

С сегодняшнего дня начал давать уроки по русскому языку мальчику-пятикласснику. Три раза в неделю. Правила знаю немногим лучше его, так что придется заглядывать в учебник. Уроки — это лишние деньги, что не так уж плохо.

На улице мокро, холодно, уныло и т. д. Зима и осень в Ленинграде для ленинградца памятливы, мне кажется, тем, что в это время он ожидает весны, живет, так сказать, для будущего. Так как я ленинградец с незапамятных времен, то и т. д. и т. п.

#### 24/Х—49.

Позавчера мы с Д. должны были идти в театр. Идти мы должны были не заезжая домой, она — с работы, я — из института. Я освободился очень рано. У меня оставалось несколько часов свободных. Сходил в кино; около восьми стал у главного входа в театр, высматривая Д. Надо сказать, я редко бываю вечерами в центре города в местах, где развлекаются. Когда бываешь по делам, в людях меньше замечаешь праздничное, потому, наверное, что голова непраздничным занята. Здесь же передо мною сплошным потоком шли веселые, принаряженные люди, и много среди них было молодых и хорошеньких девушек. Глядя на них, я почувствовал себя безнадежно старым и ненужным, как высоканный лимон. Мне было бы неудобно и, конечно, далеко не весело затесаться в эту молодую компанию. Мне стало грустно и с этим чувством я уехал домой, с своеобразным благоразумием рассудив, что мне там не место.

Д. потом ругалась и не поняла меня. Впрочем, для нее выдумал другие причины: нога, небрит, нежелание общаться с ее скучными приятельницами и т. д.

---

<sup>10</sup> *Евгеньев-Максимов* (псевд; наст. фамилия — Максимов) *Владислав Евгеньевич* (1883—1955) — профессор ЛГУ, ст. ученый специалист Отдела новой русской литературы (1936—1937), ученый хранитель музея-квартиры Н. А. Некрасова, инициатор создания ленинградского и карабахинского музеев.



У меня ухудшается память. Англичанка сегодня принесла на урок мой пересказ из Д. Лондона и сказала: «Раз ваша память не удерживает форм неправильных глаголов, нужно смотреть в таблицу».

Из Чернышевского постепенно образуется каша. Развитие Черн<ышевского> представляю только в самых общих чертах. Логическая связь между отдельными произведениями не всегда мною улавливается. Знание отдельных фактов утешить не может. Плохо еще то, что в философии я очень и очень слаб.

#### 26/X—49.

Сегодня мне сказала одна аспирантка, что ходит слух, будто бы я и еще один аспирант отбываем некий испытательный срок в аспирантуре, что, следовательно, наше положение непрочно. Этот слух, соответствует он действительности или нет, унижает меня до слез. В глубине души я всегда считал себя человеком способным и очень неглупым, и такое несоответствие между собственным моим мнением о себе и мнением обо мне других, да еще облеченным в эту ненужно унижительную форму, пугает, унижает и, что самое страшное, растлевает. Настроение сверхневажное. Неужели я в самом деле нуль, бесцветная личность настолько, что впору думать только о кормушке?

#### 4/XI—49.

День прошел бурно и невесело. В 10 утра поехал на семинар. Еще позавчера из разговора с аспиранткой, очередь которой делать доклад, понял, что семинар вряд ли состоится. Он и не состоялся, но только в том смысле, что не было доклада. Директор и зам<еститель><sup>11</sup> и Ник<олай> Ив<анович><sup>12</sup> пришли; были все мы. Первые двое из старших, особенно второй, в отношении неявившейся докладчицы заняли мстительную позицию, если можно так выразиться, как будто не знали, почему она не пришла. Настоящие невинные агнцы. Эта девушка, не очень умная красавица (но, однако ж, не дура), имела несчастье носить немецкое отчество. Вследствие этого на нее были посланы документы для отчисления. Началась нудная волокита. Как это теперь принято, девице не говорили настоящей причины ее неугодности, а виляли вежли-

<sup>11</sup> *Городецкий Борис Павлович* (1896—1974) — доктор филологических наук (1951), специалист по творчеству А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, М. Горького; с 15 апреля 1949 г. по октябрь 1950 г. заместитель директора ИРЛИ; с 1954 г. в течение ряда лет с перерывами заведовал Сектором новой русской литературы.

<sup>12</sup> *Мордовченко Николай Иванович* (1904—1951) — с 1934 г. — научный сотрудник ИРЛИ, с середины 30-х гг. преподавал литературу в Институте философии, истории, лингвистики и литературы, в 1949—1951 гг. — заведующий кафедрой истории русской литературы ЛГУ. Докторская диссертация посвящена русской критике (1948). В центре его научных интересов — русская литература первой половины XIX в.: творчество А. С. Пушкина, декабристов, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и особенно становление русской критики и творчества В. Г. Белинского. Итоговая работа — «Белинский и русская литература его времени» (1950).

во и деликатно хвостом, не забывая гнуть в раз принятом направлении. Она послала контрдокументы, доказывающие, что она — чистокровная русская. Прошло несколько месяцев. Ее лишили стипендии. Наконец, она узнает: документы ее положены под сукно; узнала об этом позавчера, причем к этому знанию, очевидно, вызванному чем-нибудь заслуживающим доверия, прибавилась уверенность, что на этот раз, за именем Боженки, надеяться не на что.

Вот почему она не пришла. Зам это, конечно, знал. Но, свирепо шевеля усами и поглядывая искоса и неодобрительно по сторонам, ворчал плотоядно: мы этого так не оставим; это оскорбление и нам и семинару.

Затем начали разделять под орех аспирантов. Выступал директор. Говорил много неутешительного двум диссертантам, затем перешел к младшим и здесь говорил почти обо мне одном. Вспоминал сдачу минимума по Пушкину и многое другое. Минимум сдан плохо, — чего же можно ожидать от человека, когда плохо сдан минимум? (Нора (Л. А. Гессен. — С. Б.) сдала минимум отлично, но она тоже негодна, и о ней говорят: минимум сдан отлично, но минимум — чепуха, поэтому вы тоже негодны.) Говорил о моем равнодушии к институту, науке и всему на свете. Говорил, что, несмотря на то (это сопровождалось нехорошим смехом — смесь самодовольства и грубости), что руководитель меня защищает всячески, объективная истина рано или поздно восторжествует, и тогда посмотрим. Кончил тем, что мое выступление на первом семинаре характеризовал как детский лепет. Я сначала растерялся, но потом начал защищаться, очень спокойно и без оправданий. Часто бывает так, что возрастающее волнение, запальчивость, настроение тягостное вдруг сменяются спокойствием поразительным, получаешь возможность посмотреть на себя со стороны, как на посторонний предмет; поползновения к защите исчезают. Так случилось и со мной.

Я спросил его:

— Вы называете мое выступление детским лепетом. Не можете ли вы указать причины, почему вы так думаете?

Он развел издевательски руками:

— Ну, знаете, дорогой мой, у меня очень много дел, я не могу помнить, о чем вы тогда говорили.

— Но если вы не помните, — сказал я, — то вряд ли вы имеете право говорить так; это не совсем удобно.

Он смутился; я добавил, что такая манера налетать с ходу на человека — излюбленная его манера, «ваш стиль, Ник<олай> Фед<орович>».

Тут он стал восторгаться неожиданно. Вот это ему нравится, что такие ничтожества начинают его критиковать. Так де и надо и я де, я, директор, вовсе не хотел вас обидеть и т. д. Но я и не обижался. Потом я сказал, что в январе будет мой доклад, что мне не может импонировать роль униженного дурачка; что всему есть предел и т. д. Я сказал:

— На докладе будут присутствовать люди ученые. Если окажется из их отзывов, что доклад неудачен, я не буду ждать, когда меня вышвыр-

нут из института, и уйду сам. Но пока я не уверен в своей несостоятельности.

На том порешили. В яв<аре> мой доклад. Я сам поставил себе условия, при которых отступить невозможно. Черт с ними.

Я люблю литературу, талантливую и прекрасную литературу, люблю искренно, но здесь что-то не так. У нас в институте, по моему впечатлению, собралось много таких людей, у которых давно атрофировалось непосредственное восприятие живых явлений литературы. Все это заменилось ремесленным деланием, подгонкой во что бы то ни стало под определенную идейность. На литературе спекулируют, в душе не веря в нее. Но все-таки там можно что-то делать, чем-то жить, на что-то надеяться. Все-таки институт в сравнении с треклятой школой — манна небесная. Можно встречать интересных людей, интересные мысли. Мало того и другого, но все же есть. За пределами института, если иметь в виду литературные занятия, — тьма крошечная, беспросветная.

Хотелось бы плюнуть на все и уехать куда-нибудь к людям простым и человеческим, работать в меру сил, быть самостоятельным. Но ни уехать, ни уйти — некуда. Николай Ив<анович> — как-то так повелось — всегда присутствует там, где меня позорят. Сам он лично меня три раза опозорил, но опозорил по закону. Этого человека уважаю, и тем неприятнее видеть его свидетелем позора. Городецкий, когда все кончилось, криво улыбаясь, сказал: «Ну и теперь пока, всего хорошего; вечером встретимся» (единая, дружеская и т. д. институтская семья).

В восемь часов вечера у нас должен был быть банкет по случаю праздника. Собирали деньги в двадцатых числах, почти в директивном порядке собирали. Я сначала не хотел, но в бухгалтерии такие рожи скривили, что пришлось тоже покривиться и подписаться. Я этих сборищ не люблю; чувствую себя не на месте. Сразу после семинара сходил заказать в библиотеке Ак<адемии> наук книги, думая на праздники обложиться ими. Решил на банкет все-таки плюнуть. Но потом раздумал, рассчитывая встретить там Бялого, поговорить о сегодняшнем заседании и о докладе. Я решил идти также потому, чтобы случайно у кого-нибудь не создалось впечатления, что именно под влиянием «событий» последнего семинара я не пришел.

В начале девятого приехал к институту и наткнулся на запертую дверь. Дверь застекленная, сквозь нее был виден вестибюль — темный и без единой души. Сверху на лестницу падал свет, но тоже — ни звуков, ни мелькания теней человеческих хотя бы. Меня это заинтриговало. Я отошел от дверей, посмотрел на весь фасад. В актовом зале — свет, в кабинете директора и в бухгалтерии — свет, но всюду свет безжизненный, какой-то настороженный, однако же, и присутствие людей вовсе не заметно. Тут подошла старенькая служительница и сообщила, что в 3 ч. дня (видимо, минут через 20 по оконч<ании> семинара) пришел приказ (откуда?) банкета не устраивать. Приказ, конечно, послушно исполнили. Почему запретили, мне не интересно. Ушел домой без

разочарования, только сожалел немного, что пришлось проехать. Эх, проехать бы куда-нибудь подальше от помойки нашей жизни! Понимаю Гринов, понимаю Олдингтонов и Хемингуэев и всех тоскующих, усталых, вздыхающих. Страшное время.

#### 20/ХІІ—49.

Сегодня вторник. В пятницу будет слушаться мой доклад. Я на него возлагаю большие надежды, мечтаю о похвалах — единственном средстве, которое может упрочить мое положение в аспирантуре. Но, видимо, нужно ожидать только плохого. Отдавая доклад на просмотр своему руководителю, получил оч<ень> сдержанный отзыв. Доклад он оценил как реферат, не больше, и сделал много удивительных по своей странности замечаний. Некоторые слова, выражения и мыслишки, придававшие докладу оттенок непосредственности и живости, забраковал как ненужную фривольность. Вообще страшно боится... не за меня, конечно. В пятницу директор будет отсутствовать, поэтому Г<ригорий> А<брамович> настаивает на том, чтобы доклад делать. Но если доклад плохой, почему не обождать, не подработать? Нужно рисковать.

Сие мне очень подозрительно. Начинаю думать, что он хочет от меня отделаться, предав на растерзание. Вообще, его сегодняшнее поведение показалось мне двуличным. Он не хвалит и не ругает, держится срединки, и в этом, как я думаю, есть свой резон! Чернышевского он знает плохо и боится попасть впросак на семинаре. Напр<имер>, он меня разругает сейчас. А что будет, если на семинаре вдруг похвалят?

Посмотрим, что будет в пятницу. Если выгонят, куда денуть? Единственное спасение — в аспирантуре. Иначе, с моей волей, характером и убеждениями, счетоводческая жизнь в перспективе, не больше. Сейчас сижу над тезисами. Никак не могу составить. Завтра их нужно подать, и у меня останется только 1½ дня на доработку доклада. Гр<игорий> Абр<амович> в высшей степени равнодушный человек. На него в трудных обстоятельствах рассчитывать нельзя.

#### 30/ХІІ—49.

Доклад прошел благополучно. Б<орис> И<ванович> Б<урсов>, забраковавший до этого один доклад и заваливший двух аспирантов на экзамене вопросами о Чернышевском, мой доклад оценил как удовлетворительный, смягчив эту неприятно-выразительную оценку ссылкой на то, что по теме нет ни одной работы и мне не на что было опереться. С его возражениями можно было не соглашаться, и я не соглашался. Гр<игорий> Абр<амович> после прений сказал мне, что защищался я хорошо. Б<орис> И<ванович> Б<урсов> закончил или почти закончил докторскую диссертацию по Чернышевскому, в этом вся суть. Он сейчас находится в таком состоянии, что все неподходящее под его концепцию неизбежно воспринимается им как неправильное. Он, что называется, еще не остыл.

Григорий Абр<амович> отделался несколькими словами. Видимо, он руководствовался точкой зр<ения> Б<ориса> И<вановича>. Согласиться с нею в открытую значило способствовать моему потоплению. Не согласиться тоже нельзя было, потому что он говорил до того с Б<орисом> И<вановичем>. Он довольно остроумно сумел ничего не сказать, но сделано это было так, что выступление его все-таки состоялось и было зафиксировано. Как руководитель он не считает себя способным дать объективную оценку — раз; прения выяснили многое, поэтому он не считает нужным повторяться — два. В итоге он может сказать только одно: докладчик умеет самостоятельно мыслить.

Нужно сказать, что ссылка на прения оказалась верхом изворотливости; сославшись на прения, он все-таки ничего не сказал, потому что мнения аспирантов сразу же разделились: одни говорили за, другие против, спорили между собой и ни до чего не dospорились. На другой день Нора завалила минимум по Чернышевскому. Спрашивал, главным образом, Б<орис> И<ванович>. Так что можно считать, что мне повезло. Тем более, что Норин доклад (у меня «Чернышевский и Тургенев», у нее «Чернышевский и Толстой») не был даже допущен к чтению.

Бельчиков в момент экзамена Нору был в Москве. Она рассчитывала сдать в его отсутствие, считая его самым опасным противником. Проскользнуть не удалось. Ей двойки не поставили, предложив сдавать еще раз через месяц. Бельчиков потом рвал и метал: почему не поставили двойки? Отсрочку сократил вдвое. В середине января она будет сдавать. Шансов на благополучный исход очень мало. Впрочем, особа эта работоспособная, настойчивая и упорная. Может быть, и удастся. Я также буду пытаться в январе.

Позавчера говорил с Г<ригорием> А<брамовичем> о докладе и о споре, имевшем место между Б<орисом> И<вановичем> и мною. Г<ригорий> А<брамович> развел руками: после драки кулаками не машут. Так-то так, но ведь минимум-то придется сдавать. Я до сих пор не знаю, чего держаться: Б<орис> И<ванович> не согласился с моей концепцией, но и своей не выставил. Вся литературу о Чернышевском он считает неудовлетворительной. Почему — можно узнать только у него, но обратиться к нему, будущему экзаменатору, неудобно. Нужно во что бы то ни стало удержаться в аспирантуре. Исследователем я быть не собираюсь. Моя мечта — получить кандидатскую степень и уехать вузовским преподавателем куда-нибудь на юг. Преподаватель из меня должен получиться. Безбедное существование, теплый климат и чтение книг по собственному выбору — вот все, что мне нужно. Это главное.

1950

22 фев<аля> 1950.

Сдавал Чернышевского 4-го числа. Получил 4. Писать об этом подробно не хочется. Помню, чувствовал себя так, как будто гора свалилась с плеч. Но теперь все идет по-старому. Работа эта, надо признать-

ся, меня не радует и кажется ненужной. У меня нет времени читать нечитаную литературу, следовательно, некуда спрятаться от самого себя и от «жизни». Невозможность читать художественное в свое удовольствие сказывается на языке. Сегодня просмотрел дневник за 42 г., и мне показалось, что тогда я и чувствовал свежее и писал лучше. Сейчас у меня на очереди Горький. Читаю его литературно-критич<еские> статьи. Меня поражает то обстоятельство, что Горький, неоднократно писавший о неудовлетворительности продукции начинающих, упускал из виду главную причину низкого качества их произведений. Только тогда можно верно написать что-либо путное, когда материал пропущен через личный опыт. Писатель должен на собственной шкуре испытать то, о чем он пишет, и всегда исходит из личного опыта. Недавно ругали Катаева за его книжку «За власть Советов». О критике я только слышал, самое книжку полностью не читал (слушал несколько передач по радио), но знаю: в значит<ельной> степени она надумана.

Когда Катаев писал «Белеет парус...», он располагал непосредственно пережитым материалом — своим детством, и книжка получилась хорошая. Задумав дать ее продолжение, он проделал механическую работу, в которой нет души. Этого и следовало ожидать, так как здесь ему личный опыт помочь не мог. Писатель должен уметь чувствовать и не насиловать своих чувств, он не должен выходить за пределы своих чувств и впечатлений. Если же он хочет дать художественную иллюстрацию какой-нибудь идеи или теории, воспринятой извне, — все равно: сначала переживи ее, прочувствуй на личном опыте, иначе шиш получится.

### 28/III—1950.

Горький с презрением и гадливостью говорит о людях, боящихся смерти. По его терминологии, это мещане и индивидуалисты, мысли которых никогда не выходят за пределы своего «я». Они рассуждают обнаженно-цинично: после меня хоть потоп, но пока я живу, нужно урвать все, что можно, даже если это сопряжено с риском паразитизма.

Я не думаю, как эти люди, но смерти я боюсь. Правда, боязнь у меня иная. Я боюсь смерти, потому что хочу жить с себе подобными, с людьми. Я не могу сказать, как индивидуалисты: после меня хоть потоп. Все хорошее в жизни меня привлекает, при встрече с хорошим у меня никогда не возникало садистического желания оплевать его или уничтожить только потому, что оно лучше меня. Короче говоря, я не боялся бы смерти, если бы жизнь не привлекала меня. И я не индивидуалист, меня тянет на широкий простор, и вся скука и тоска, посещающие меня нередко, порождены невозможностью жить полно, весело, содержательно.

На заседаниях сектора профессора часто читают работы о маленьких писателях прошлого. Обсуждаются работы солидно, серьезно и подробно, иногда с остервенением и запальчивостью. Под всякую мелочь подводят базу эпохи и социальной борьбы. Это уж так повелось: образную мысль писателя вводить в какое-нибудь прокрустово ложе.

Сидишь, слушаешь, смотришь в окошко в серое северное небо и думаешь о бесполезной трате времени. Слишком много возни с маленькими, скучными мертвецами. Это время можно было бы употребить с большею пользой и талантом. Но люди дорожат крохами механического знания сомнительного достоинства и значения. Собрано оно с трудом, и поэтому пренебречь им трудно; кроме того, это их хлеб и жизнь. Что они станут делать, отказавшись от него? Я почти уверен: все они, покидая заседания, переключаются в другую сферу мыслей и чувств, более живую; деловая, ученая жизнь для них — ширма, средство, помогающее отгородиться от миллионов неустроенных людей. Они, конечно, понимают, что время для хорошей жизни для всех еще не наступило, но что для личного благополучия данными овладеть можно, и овладевают. Не они ли индивидуалисты и мещане? В лучшем случае — люди слабые, про себя понимающие свою беспомощность и живущие как можется, по своеобразной правде, но все-таки по линии наименьшего сопротивления. У них есть багаж культуры, несколько более весомый, чем у остальной массы смертных. Тщеславие часто прорывается наружу, и тогда они дают едко понять, что они люди интеллигентные, люди со знаниями и вкусом, не терпящим ничего вульгарного.

На последнем заседании я часто поглядывал в окно, по обыкновению. Тучи, ветер, солнца нет. По горбтому мосту, как-то съеживаясь, прижимаясь к настилу, неслышно, воровато бегут трамваи, троллейбусы, исчезая затем между двумя рядами серых и высоких домов с облупленной штукатуркой. Ряды домов сжимают узкую улицу; невольно думается о холоде и тьме.

Люди в комнате говорят по формуле «от сих до сих», трамваи и троллейбусы, так быстро бегущие, не убегут далеко: у них свое «от сих и до сих». Часы, дни идут, слагаются в годы, человек стареет, но с ученым видом знатока продолжает копаться в архивной пыли. Неужели ему никогда не приходит в голову мысль, что он занимается делом неблагодарным и вряд ли нужным? Наверняка приходит; все-таки он человек...

Видеть каждый день одни и те же вещи, одних и тех же людей тяжело и утомительно. Не потому, что и те и другие противны, а потому, что этого недостаточно. Земля велика и прекрасна, великие художники и мыслители нередко говорили о том, что земля для человека, а не человек для земли, но человек в массе пока еще — и, вероятно, надолго — прикован к одному месту, как каторжник к своей тачке.

Смотришь в окно с запоздалой мечтой о далеких странах, незнакомых людях, которых так-таки и не увидишь. И вот тут-то и приходят мысли о смерти, сопровождаемые в большей степени чувством обиды, нежели страха, но все-таки и страх есть... Говорят, сильные люди не боятся, боятся только слабые. Не думаю. Слабые боятся чаще, у них меньше возможностей для удовлетворения своих потребностей, но, так как у сильного почти всегда потребности обширнее, страх знаком и ему. Большому кораблю большое плавание, но, как известно, большому

кораблю уготованы и бури соответствующие, и не всегда он эти бури побеждает. Сильному тоже знаком страх.

Горький много говорил о радости жизни, борьбы, деяния. Я думаю, что его произведения на эту тему — только попытка дать картину, но еще не сама картина. Горький открыл (вместе со многими другими, напр<имер>, с Дж. Лондоном) дверь в новый мир. Свет, хлынувший в эту дверь, ослепил его и не дал возможности заглянуть поглубже. Горький и другие сыграли только увертюру, они чувствовали впереди непочатый край звуков и красок, но овладеть ими не смогли. Будущее литературы — огромное. Девушка и смерть, Буревестник, Сокол — гениальные эскизы, и Горький понимал, что это именно так: эскизы. Недаром же он впоследствии писал о Самгиных — существах серых, мешающих жизни стать яркой, красивой. Сначала Горький дал эскизы прекрасного будущего, но потом всю жизнь занимался уничтожением мусора, мешающего всем людям, по крайней мере, огромному, здоровому их большинству, увидеть и почувствовать жизнь в формах радости, здоровья, труда и любви.

Горький мыслил крупно и благородно. Он по-настоящему великий человек и, как существо удивительно благородное, немножко наивен. Я временами недолюбливаю Гоголя и Чернышевского, о Достоевском же прямо скажу: всегда неприятен. Мои мысли о Гоголе и Чернышевском до некоторой степени совпали с горьковскими. В особенности это касается Чернышевского. Горький говорит о том, что Чернышевский мыслил о народе догматически, что народ для него был материалом для построения теорий и только с этой точки зрения интересовал его. Верно это или нет — не берусь судить, но мне думается, что Чернышевский неспособен был любить людей, а если и любил, то книжно, формулами и теориями; к образному мышлению был почти неспособен. Недаром Тургенев называл его работы «мертвечиной».

Я думаю, что и для Сталина народ — только строительный материал. По Сталину, такой образ мыслей диктуется необходимостью и знанием, чего у Чернышевского не хватало. Если человек жертвует миллионами для правильного понятия прекрасного будущего и если этой жертвы не избежать — вины здесь нет, по-моему. Сталин мало и просто говорит. Понимает, что в наше время дифирамбы и словесная пышность неуместны.

### 30/III—50.

Один из любезнейших сердцу вопросов — вопрос женский. <...> Только что в заспанном и растрепанном виде выходил на звонок. Приходила подруга сестры, с которой я когда-то вместе учился в школе. Женщина цветущая, красивый рот и зубы (сплошные и выпуклые), умеренно пышные формы, возбуждающие своей законченностью. Признаюсь: красивую, даже просто привлекательную женщину всегда раздеть хочется. Здесь несомненно значительная примесь животного, но к этому нужно добавить желание видеть красивое, жадное стремление к



непознанному. Смешно было бы отрицать в женщине «человека», но стремление видеть в женщине исключительно «человека» пресно, не совсем искренно и недостаточно. Я могу увидеть везде: в ребенке, мужчине, старухе, старике, женщине всякой — красивой и некрасивой, но только в красивой и неглупой женщине увидишь тот необходимый дополнительный элемент, без которого содержание понятия «человек» тускло и незаконченно.

Возможно, — от неумения выразить свою мысль, — я говорю пошлости, но факт остается фактом: для меня женщина очень много значит. Чаще всего женщина воодушевляет (я говорю об отдельном бытовом человеке) на дерзкие и благородные чувства, она стимулирует действенное отношение к жизни и делает глаз изощренно-зорким не только на хорошее, но и на создание хорошего. Почему многие люди, прожив значительный срок с женой, превращаются в существа более или менее серые, бесцветные, скучно и сыто уравновешенные? Я думаю, причина не только в возрасте, семья накладывает отпечаток. Теоретически семья уже не оправдывает себя, но по рутине и в силу сложившихся обстоятельств социального порядка продолжает существовать и поддерживаться законом в теперешних формах. Животные, запертые в железную клетку, постепенно теряют свою первобытную, свободную красоту и силу, — последним негде проявиться. Так и человек в семье. Семья должна быть большой, общей, такой, какой ее мыслил Чернышевский (в принципе) в своем романе. Семья дружная, здоровая, не включающая обязанностей друг к другу отдельных ее членов, но, тем не менее, не насилюющая индивидуальной свободы и склонностей. Человечество до такой семьи явно не доросло, что доказывается примером хотя бы тех людей, которые не удовлетворяются одной женщиной. Любовь ко многим у них превращается в голый разврат, приобретает чаще всего скотские формы.

Главная причина неустроенности мира мне хорошо известна. В конце концов все малые и большие неполадки в жизни современного человека объясняются этими причинами, и я знаю, что такой жизнь будет еще долго, хотя — неизбежно — и изменится к лучшему. Но ждать не хочется. Я мог бы жить иначе. Многие люди в наше время уже созрели для будущего, сознают это, но разве одного сознания достаточно? Эти люди очень часто должны испытывать чувства, горечь которых незнакома большинству. Большинство нужно перевоспитывать и толкать на борьбу со старым миром. Трагедия этой борьбы заключается в том, что, сцедив зубы, нужно стойко переносить временные потери даже того недостаточного багажа в камере человеческого счастья, который уже удалось скопить и сохранить. К будущему ведет, к сожалению, тяжелый и трудный путь. Стыдно отказываться от этого пути, но я думаю: это очень естественно и не должно возбуждать ненависти и гонений со стороны пастырей ведомого стада, когда некоторые из этого стада, менее других приспособленные к кочевой жизни и уже достаточно разившиеся до того, чтобы питать отвращение к драке с себе подобными,

сдают, не выдерживают, раскисают. Я не оправдываю ренегатства; знаю, что во всемирной свалке нет места сентиментальности и заботам о душевном уюте человека, взятого отдельно. Но такого человека нужно все-таки поддержать, ибо его раскисание закономерно и оправдано обстоятельствами, против которых он не всегда с успехом может бороться.

Дело писателя заглянуть поглубже в человека, чутко отнестись к этому неизбежному разладу в душе его. Это не помешает теперешнему стремлению писателей показать советского человека с большой буквы, как героя и строителя нового мира. Наоборот. Я согласен с Горьким, т. е. считаю, что только человек нашей страны способен создать прекрасное будущее. Какими бы недостатками этот человек ни обладал, все-таки он на верном пути и, пусть по кривой, идет неуклонно к своей цели. По природе своей он не способен к ренегатству и отступничеству. Но если он не ренегат, так это еще не значит, что он мыслит и действует прямолинейно, схематично, сухо, как геометрия. Он не камень и не кусок дерева, а существо с тонкой нервной организацией, которая не может не остаться невосприимчивой в массе самых разнообразных явлений жизни. Развитие идет по кривой. Духовно богаче и заслуживает большего уважения тот, кто сделал свой путь по кривой, а не по прямой. Да прямой в развитии, впрочем, и нет. Она выдумана для наглядности и легкости изучения всякого развития. «Мелочи» и «второстепенное», имеющие для писателя огромное значение как рядовой, но необходимейший материал образной системы, отбрасываются в сторону только при окончательной отшлифовке формул той или иной теории. Без мелочей и второстепенного нет убедительной картины процесса. Мелочь и второстепенное — это тот же факт, без которого невозможна формула, кирпич, без которого не построишь дома, и т. д. Та мелочь, о которой я сейчас говорю, на мой взгляд, очень важна для писателя.

Нового человека нужно изобразить не только для поддержания веры в себя нового общества, не только для творческой зарядки его, но и в назидание и поучение потомству. Это потомство, духовная жизнь которого будет неизмеримо богаче и разнообразнее нашей, может отнестись с недостаточным уважением к конкретному человеку, когда увидит, что он толстокож, громкоголос и однообразен и обладает мало восприимчивой и негибкой психикой. Когда оно будет читать книжки наших дней, у него наверняка создастся такое впечатление, не очень выгодное и правдоподобное, но закономерное.

Делать из человека схему, ходячую идею, способную мыслить и чувствовать только в заученных формах, — это, мягко выражаясь, похоже на издевательство, на спекуляции. Арифметика — только стадия математики и, как известно, начальная ее стадия.

Кроме всего прочего, человек будущего, изучая нашу литературу, не увидит в ней полной картины богатого и разнообразного процесса в психике человека нашего времени. И о жизни нашей он получит представление скудное и неполное. В теории он будет благодарить нас за

наследство, но чувством глубокой духовной связи времен и людей может и не понять. И получится у него митинговое только, показное уважение и любовь к рядовому деятелю нашего времени. Для приличия поговорив о нем на официальных сборищах, в личной практике забудет о том, что когда-то существовал человек, потом и кровью которого построено здание, в коем он живет, здравствует и процветает.

Литература должна давать человека во всей его сложности и колебаниях. Стремление к творчеству новых форм жизни и строительство этих форм нужно изображать как сознательное, активное стремление, которое человек выдвигает из себя. Колебания порождаются чаще всего внешними, не главными причинами. Они неизбежны, они как бы навязываются человеку помимо его воли и внешними обстоятельствами и некоторыми несовершенствами его «я». И они должны быть также изображены. Героизм и красота — в преодолении. Когда же человек, строя новый мир, преодолевает в себе попутно темное и слабое, но не прячет его ханжески, стыдливо в себе — такой человек — настоящий человек, он красив и стоит того, чтобы о нем знали и уважали его. Это важно не только для объективной оценки нашего времени человеком будущего. На мой взгляд, это имеет огромное практическое значение в нашей повседневной жизни.

Человек, читая настоящие художественные произведения, увидит, что о нем говорят правду, увидит, что его жизнь полна великого значения и героизма, и героизм этот не затушевывается изображением отдельных срывов, слабостей, колебаний, неуверенности, а только приобретает более рельефные и весомые формы на этом фоне. Он узнает себя и подлинную правду о себе, поняв, как, в сущности, несмотря ни на что, правда эта прекрасна. Но не только это он узнает. Такое — настоящее — художественное произведение покажет ему человека и рядом с ним стоящего, работающего с ним вместе, оно научит гуманизму, чуткости, бодрости, вере в происходящее, дает зарядку к активному действию, раскроет полнее смысл и перспективы происходящего, научит не скрываться, не прятаться, не стыдиться, а уважать и себя и товарища, видя в нем прежде всего человека и друга до конца. Правда — самый лучший воспитатель и сильнейший возбудитель так называемых добрых чувств. Фальшь морально коверкает человека, культивирует в нем скептицизм, недоверие и тенденцию к исповедованию подлового кредо: моя хата с краю, ничего не знаю.

Не всякий — особенно в последние годы — чувствует себя в своей стране как дома. Многие начинают считать себя временными постояльцами, которых терпят только потому, что они хорошо платят за квартиру. Литература могла бы заняться устранением этого недоразумения. Но пока она не справляется с этим, а очень часто бьет мимо цели.

Я считаю, что в двадцатые—тридцатые годы человек нашей страны в гораздо большей степени чувствовал себя хозяином и строителем собственного бытия, чем, например, сейчас. Сейчас многие считают

себя жертвами, париями, а не хозяевами своей судьбы. Таковыми людьми себя считают, главным образом, рабочие.

### 1/IV—50.

Прочел последнюю запись. Не понравилось. Написано, как показания обвиняемого, стремящегося оправдаться в тяжелых грехах.

Сегодня в институте встретился с девицей, отношения с которой, мне почему-то кажется, могут привести к постели. Были в кино, назначили rendez-vous на понедельник. Осенью она мне почти нравилась, сейчас не очень, и это почти все, что могу сказать на этот счет. Поживем — увидим. До сих пор то ли по разборчивости, то ли из лени — скорее второе — отказывался от любви второго сорта. Теперь же хочу развлечься, если выйдет. К тому же весна и лето на носу — время чрезвычайно благоприятное для волокитства. Почему-то мне кажется, что она с давних пор не склонна в чем бы то ни было мне отказывать. Показания наблюдательных способностей следует проверить на практике.

### 11/IV—50.

Несмотря на то, что читаю и перечитываю Горького, находя в нем много поучительного для себя лично, живу в замедленном темпе. На стороне прочных интересов нет, дома — скучно. Почти все домашнее время провожу на диване. Жить хочется, но явно не может. Горький суров к людям моего типа (мысли его о мещанском индивидуализме считаю камнем в мой огород). Я думаю, суровость уместна к большим группам, прослойкам людей, что же касается отдельного человека, то его судить и осуждать нужно с большой осмотрительностью. Конечно, я не хочу этим сказать, что требую к себе внимания (его, кстати, и требовать не от кого); говорю так потому, что убежден в этом. В умирающих классах, например, были люди большой духовной ценности. Горький не отрицает этого, и много несчастных и жалких — не от бессилия и безволия, а от условий.

В обществе меня считают человеком резковатым. В разговорах с людьми не замечаю за собою той кислотности, которая мной овладевает, когда остаюсь один. Это потому, что есть у меня две жизни. В институте я живу деловой жизнью, литературные вопросы там меня занимают с точки зрения практической: думаешь о минимуме, диссертации, обсуждаешь, запоминаешь сказанное тем или иным писателем. Дома не то. И думаю о другом. Часто о смерти, о приближающейся старости, о времени, бессмысленно убиваемом на разные мелочи. Жизнь уходит неуклонно, и остановившийся ее кусок весь наполнен одной мыслью, даже не мыслью, а желанием — пожить не так, как живу. Хотелось бы попутешествовать, хоть немного, отряхнуться от будней, встретиться с новыми людьми. Часто тоскую о работе, заполняющей все время, об удовольствии, получаемом от работы. Может быть, лучше для меня было бы, если бы у меня была не такая профессия, а что-нибудь непосредственное, полнокровное, лишенное рефлексии, часто бесплодной.

Одно время до войны я мечтал о жизни моряка. Неплохо было бы стать садоводом, геологом. Жажду перемены мест, жизни под открытым небом, труда, результат которого сразу же виден. Труда хочется не механического и не одинаково<во>го.

У Горького очень хорошо сказано об индивидуалисте-интеллигенте, вообще индивидуалисте. Ненормальным в его жизни Горький, напр<имер>, считал то обстоятельство, что ему, индивидуалисту, значительную часть своих сил приходилось тратить на самозащиту, а не на развитие своих творческих способностей. Вместо того, чтобы двигаться вперед, способствовать прогрессу в жизни людей, он защищал свое маленькое настоящее, чувствуя ложность и трагичность своего положения и недостаток сил, чтобы выйти из него. Сейчас весь мир в таком положении.

Сестра кончает педиатрич<еский> ин<ститу>т в этом году. Много было толков перед распределением: какое место выбрать для работы. Я ей такими красками расписал Узбекистан, что, когда ей предложили Казахскую <ССР>, она совсем пала духом. В значит<ельной> степени благодаря моим подстегиваниям и коварным рассказам о красотах азиатской весны, об одежде и обычаях узбеков она набралась упрямства и настояла на Узбекистане. Несколько дней я жил ее интересами. В мыслях я уже давно побывал у нее в отпуске и наслаждался среднеазиатской экзотикой. У меня часты моменты, когда, замечтавшись о чем-нибудь, могу часами сидеть сложа руки. Своей жизни явно не хватает.

Я люблю литературу; может быть, поэтому не следовало ее выбирать для профессии. Я ее люблю по-своему, не «научно». Постепенно завожу библиотеку.

Кошка родила котят. Дело не обошлось без моего участия чуть ли не в роли акушера. Животных я люблю, и они понимают это. Кошка как бы напроказила, не боится, если застаю ее на месте преступления. Первый котенок, родившись, умер, три других здравствуют, непрерывно сося и вслепую воюя друг с другом. Самый воинственный из них — серая кошечка, органически не переносящая покоя. У двух других шкурки как черный бархат с темно-оранжевыми пятнышками и двумя продольными полосами такого же цвета на спине. Коты. Один из них — явный индивидуалист и сибарит. Пока та пара пищит, обрабатывая друг друга лапами, — очень похоже на торопливые пощечины, — лежит «вдалеке» от них, уютно расположившись под задней лапой мамыши и молча, солидно сосет, надуваясь, как пузырь. Д. злится на меня, грозя утопить всех котят (не занимаешься из-за них и т. д.), но когда выхожу из комнаты, где они лежат в корзине, сама к ним лезет с ласками. Один раз я застал ее за этим занятием, и мне стало смешно. На лице ее удовольствие смешивалось с легким недоумением: чего он в них нашел? Однако же, видимо, что-то и в самом деле интересного в них есть...

P. S. На rendez-vous не пошел. Успеется.

Сегодняшний день был для меня сплошным самомучительством. Появился в институте как ленивый забулдыга — опоздал на час. В перерыве, слоняясь по коридору, слышал, как Ник<олай> Ив<анович><sup>13</sup> спрашивал, обращаясь к людям и стенам: «Где Григорий Абрамович?».<sup>14</sup> На душе у меня было мутно, тем не менее, с веселым выражением на лице и, как мне кажется, с пошлой фамильярностью, подошел к Ник<олаю> Ив<ановичу>, сказав ему, что Григ<орий> Абр<амович> болен и сегодня не придет. Можно было ограничиться этим, но я почему-то добавил явно невпопад: у Григ<ория> Абр<амовича> появился пес; Г<ригорий> А<брамович> собирается назвать его Шуриком. На это сообщение последовало вежливое и несколько недоуменное: «Гм... гм...». После чего я почувствовал себя лакеем, в котором лакея разгадали. Расхлябанной походкой, вспотев от муки и от вдруг нахлынувшей усталости, отошел и столкнулся с Пиксановым. Не поздоровался и заставил его уступить дорогу. Старик этот самолюбив и болезненно-тонко замечает грубость и невоспитанность, когда они проявляются не у него. Но я не мог поздороваться по другой причине: руки у меня к этому времени стали по-лягушечьи холодны и липки. То же самое вчера произошло у Григ<ория> Абр<амовича> на консультации. Когда чувствую себя несвободно, не на своем месте, усталость появляется незамедлительно, и вслед за этим тело покрывается отвратительной испариной. Встреча с Григ<орием> Абр<амовичем> носила не настолько приятельский и задушевный характер, чтобы можно было на другой день комментировать ее с плебейской фамильярностью. Григ<орий> Абр<амович> был действительно немного болен и консультацию давал лежа на диване, забравшись на него в уютных домашних шлепанцах. Я отметил эти шлепанцы и то, что квартира пропитана запахом кошки и собаки — запахом чуть ли не более острым, чем у меня дома. Григ<орий> Абр<амович> всегда вежлив и доброжелателен. Аспиранты сии его качества сразу замечают и на этом их наблюдательность ограничивается. Что касается меня, я иду в этом отнош<ении> гораздо дальше. От меня не скрывается и другая особенность maître'a — его равнодушие, снисходительная покладистость учителя, который чувствует себя богаче ученика во всех смыслах, но не находит нужным этими богатствами поделиться — ни сейчас, ни потом. Говорили мы о критике и публицистике Горького. Конечно, мною сразу же было замечено: о многих статьях он не может иметь суждения, потому что не читал их, о некоторых знакомых статьях — потому, что это или не его «эпоха», или потому, что не хочется возвращаться к скучному, давно изжитому прошлому.

<sup>13</sup> Н. И. Мордовченко.

<sup>14</sup> Г. А. Бялый.

Деловые встречи у нас бывают редко, но, так как они необходимы и к тому же в официальном порядке учитываются дирекцией, он интересуется ими... с точки зрения их документального оформления.

Обычно он только слушает. Меня больше устраивала бы беседа. Говорили мы часа полтора. Я видел, что он ждет конца — не потому, что болен; я, кстати, еще при входе к нему предложил перенести консультацию на другой день — и скучает. Это вязало мне язык, оскорбительная ненужность происходящего утомляла меня. Все эти «псевдоученые» галопы по верхам часто кажутся совершенно бессмысленными, наука о литературе — безвкусицей, выдуманной для того, чтобы дать возможность занимающимся ею людям добывать деньги на жизнь. Есть литература, есть образ и мысль того или иного писателя — почти всегда интересные, поучительные, полезные, окрыляющие, т. е. что-то несомненно весомое, нужное, честное. Науку же о литературе я воспринимаю только как паразитивный комментарий, в очень редких случаях полезный и будящий мысль. Сейчас, когда этот комментарий все больше и больше превращается в циркачески изощренное искусство приспособления и перекрашивания фасада литературного здания в pendant к тому или иному политическому поветрию, как известно, очень часто, а подчас и резко меняющему направлению, его несамостоятельность и куца схоластичность особенно резко бросается в глаза. Я цепляюсь за аспирантуру только потому, что она дает возможность все время находиться в кругу литературных интересов, избавляя при этом от необходимости думать о куске хлеба. Литературой я интересовался бы и не будучи в аспирантуре, тогда не удалось бы уделять ей все время. Так удобнее. Но все-таки мое положение кажется мне ложным, и только невозможность безболезненно изменить его удерживает меня в нем. Я хочу знать литературу, но посвящать свою жизнь работе не в литературе, а сомнительных пристроек к ней, которые мне почти всегда кажутся инородным телом, не хочется. Нашу науку я понимаю только так (примитивно?): накапливать и систематизировать непосредственные знания о писателях и на работе с тем, чтобы в сжатом виде реализовать их на лекциях, которые должны строиться как изложение фактов. Наша работа, по-моему, должна сводиться только к обработке и передаче фактов; концепции и гипотезы должны строить только самостоятельные науки.

Для меня важно наложение знаний и чувств, на основе которых вырабатывается гибкость мысли. То и другое я, таким образом, получал и получаю у писателя-художника — человека, которому всегда верю. Живое не врет, а хороший писатель — наиболее живой человек. Но читать художественную литературу в «охотку» не удастся. Приходится читать литературу о литературе. Сие сушит и, как я уже говорил, угнетает потому, что не веришь в нужность литературы о литературе. По крайней мере — там много лишнего.

Художественная литература всегда поддерживала во мне силы, внушала бодрость и давала смысл личной жизни. С помощью художест-

венной литературы я чувствую себя частицей мира, чувствую, что живу в нем и что жизнь эта — хороша все-таки.

Труд художника считаю самым благородным и красивым. Этот труд раскрепощает душу, внушая чувственную любовь к миру и человеку, любовь, лишённую даже намека на пошлость.

Теперешнее мое положение меня оскорбляет. Я не на своем месте. Если человек, принимаясь за работу, уже мечтает об отдыхе как язычник, это не работник. Я в таком положении и вижу всю его аномальность. Я хочу жить, работать, с этого начинать, а уж потом, если это будет необходимо и полезно, — исследовать. Волею судеб приходится начинать с последнего. Бросать аспирантуру самовольно, однако, нельзя. Потому что работа школьным учителем окончательно убьет меня. <...>

Снятся плохие сны. В разговоре с двумя аспирантами «нечаянно» назвал директора дураком, а потом заговорил о летнем отдыхе. Когда один из них отошел, другой сказал мне: «Напрасно ты мечтаешь об отдыхе, теперь тебя исключат. Этот тип пошел к директору». Вышел ночью за ворота, на проспект. Тьма крошечная. Издалека доносится нутужное гудение самолетов и хлопки зениток. Понимаю, что это война. Покойное колыхание мягко вздыбленного воздуха, все медленно поднимается вверх. Уши перестают слышать, глаза — видеть, губы твердеют и постепенно теряют чувствительность, словно в них ввели замораживающее средство. Чувствительность теряется быстро, но при этом думаю: какая умиротворяющая, медлительная постепенность! Не жалко жизни. Смерть проста, покойна, как сон. Стоило ли столько лет бояться ее, изворачиваться в мелочной борьбе с людьми и тяжелыми обстоятельствами? С тихими слезами отбываю в вечность. Законченный образчик декаданса, не правда ли?

Установилась ранняя теплая весна. Сбросил пальто. В трамваях открыты окна. Ехал сегодня, читал книжку. У Казанского трамвай долго стоял. Было утро. Теплый, ласковый воздух и в нем — осторожно-мягкие, мелодичные голоса женщин. Словно эти женщины говорят где-то далеко-далеко, но воздух настолько чист и прозрачен, что эти голоса, смягченные расстоянием, окутанные дымкой невыразимой прелести, слушаешь без всякого напряжения барабанных перепонок. А в институте толстая женщина ватным, пресным голосом читала доклад — «Ленин и фольклор».

12/V—50 г.

В институте была переаттестация аспирантов и докторантов. Григорий Абрамович при мне на одном из заседаний написал мне хорошую характеристику и дал мне ее прочесть. Мне было неудобно брать ее, но он, очевидно, заметил, что мое смущение и шепетильность несколько преувеличенны и манерны. Кажется, прошло все благополучно, если только дирекция не подложила свинью тайком. Последнее же слово все-таки за ней.



Несколько дней с утра до вечера занимался в институтской читальне. Наши аспиранты только что не спят там (педагогические в особенности<sup>15</sup>). Все они обходятся друг с другом запросто, на ты, и только один я в их кругу испытываю и вызываю неловкость. Что-то есть в моих манерах отпугивающее. Мне хотелось бы простоты и сердечности в общении с людьми, но не получается. Досадно.

Смотрел салют (первый раз в жизни) в день победы. Когда прогремел первый залп, распашистый, наполненный сурово догоняющими и усиливающими друг друга звуками, подумал: «Вот! Что бы ни случилось в мире, как бы он ни изменялся, а факт остается фактом: Россия не разучилась ценить и вспоминать свое недавнее горькое и прекрасное — победное! Россия много сделала и продолжает, несмотря на трудности, идти своей героической дорогой. Именно — героической». Стало хорошо на душе, радостно за всех — мертвых и живых. Живых было очень много. На просторных лестницах биржи, даже на крыше ее, на трамвайных путях, на мостах, впритирку друг к другу стояли люди. Ходили не многие, разговаривали только единицы, и это как-то поднимало настроение.

Трамваи и автобусы совсем остановились в этой тесноте и некоторое время даже после салюта не могли двигаться. От биржи до Исаакия прошел пешком, вслушиваясь в разговоры гуляющих. Странно: никто не говорил о салюте, войне, ни одной серьезной мысли, относящейся хотя бы даже к не злобе дня. На грузовике медленно проехали красноармейцы с гармошкой. Ее поганые звуки напомнили о том, что существует крестьянин — человек, все еще очень далекий от того, чтобы понимать красивое и думать о чем-нибудь, кроме своей деревни. Два красноармейца, видимо, земляки и сослуживцы, подошли к бродячему буфету. Один купил пирожки и понес их, бережливо и скупно прикрывая огромными ладонями и, кажется, ничего, кроме них, не видя. Другой испытывал явно гамлетовское чувство: пирожка хотелось, но денег мало. Он нерешительно последовал за первым, о чем-то его спрашивая, но глядя не на человека, а на пирожки в его руках. Наконец тот ответил твердо и скупно: «Семьдесят копеек», — и неловко и поспешно протолкался со своими пирожками в сквер. Где-нибудь с торопливой жадностью съест их, чавкая и давясь.

У Исаакия встретил моряков из училища. Их было много. Тихими голосами переговаривались. От них веяло чем-то особенным. Чувствовалось, что это прежде всего товарищи, друзья, веселые и верные, не дающие в обиду друг друга и уж, наверное, неспособные к таким примитивным проявлениям животного, как у этих двух красноармейцев, обладателей больших рук и удивительно маленьких головок. Потом моряки выстроились и пошли, без команды, но дружно, красиво, слит-

<sup>15</sup> Речь идет о педагогической аспирантуре, длившейся четыре года. Окончившие ее должны были вернуться в те места, откуда были направлены; это было своего рода «распредсленис». Благодарю за уточнение И. А. Битюгову.

но и уверенно, спокойно покачиваясь на крепких ногах, мерца в тьме ослепительно белыми бескозырками и бледно-голубыми гюйсами, при виде которых я всегда вспоминаю море и слышу его прохладный соленый запах. Вслед за моряками пошел взвод красноармейцев. Но тут было все не так. Эти шли нехотя, с напряжением. Чувствовалось, что они, особенно их краснолицый сержант, ненужно громко и строго командующий, хотят отличиться перед публикой и показать себя также и перед моряками, которым они всегда завидуют какой-то мелкой, нехорошей завистью. Моряки были уже далеко. Все так же мерно и неторопливо покачиваясь, они шли, нисколько не напрягаясь и, казалось, ничего вокруг себя не замечая, во всяком случае, мало придавая ему значения. Изящные и беззаботные щеголи.

Аспирантка, о которой я уже писал, явно ищет моего общества. Поссорившись с одним из моих приятелей (заодно очень крупно и с его женою), она старается как можно меньше бывать в нашем институте, чтобы с ним не встретиться. Но все-таки пришла. Были в кино, много гуляли после. Предлагал в один из теплых дней съездить за город, говорил о том, что от лесных запахов сейчас можно одуреть и совсем потерять голову. Она не замедлила мысли моей придать двусмысленный, почти сальный характер: «О, потерять голову — это опасно!». Я «не расслышал» этих слов. Смотрели мы «Лесную быль», хорошую картину. Тоже не обошлось без сальностей.

2 мая приходил отец безбожно пьяный. Стал совсем маленький и старый. В глаза страшно смотреть: выцвели, помутнели и дрожат. Ему пятьдесят семь лет. Протягивая над столом грязные заскорузлые руки, покрытые ссадинами, нищенски жаловался: много работает. Что я могу для него сделать сейчас? Мама с ним вместе жить не захочет. Кроме того, у него две семьи (я знаю об одной) и маленькие дети. Жена воровата, как все бедные люди, не желающие и не умеющие работать. Мелкие собственники из неудачников. Если меня куда-нибудь направят после окончания, возьму его с собой. Самое главное — мама. О ней я, конечно, позабочусь в первую очередь. Ей уже сейчас не следовало бы работать. Очень больна.

Между прочим, эта аспирантка считает меня совершенно неискушенным в вопросах флирта. Считает, что я совершенно не понимаю намеков и т. д. А мне кажется, что она упорно и далеко неискусно лезет под меня. Но не могу же я говорить ей, что понимаю и должным образом ценю это. Приглашала к ней. Я схожу, конечно. Хочется до конца понаблюдать за тем, «как это делается». У нее, мне кажется, было уже довольно много любовников. У девушек, которые много работают с книгой и мало с мужчинами, нет этого грязноватого, беспокойного выражения на лице. Может быть, я ошибаюсь. Но как бы я ни ошибался, она не может мне нравиться — ни как человек, ни как женщина. Только на время может понравиться как женщина, еще не старая и не безобразная. Объективно: она недурна, но и только. Чутьочку поменьше — и такие женщины совсем неинтересны. Мне сейчас почему-то грустно

вспоминать о Вере Илларионовне, нашей англичанке, которая мне очень нравилась. Нам разрешили бросить один язык, и я, так много мечтавший о знании двух языков, неоднократно говоривший о том, что второй язык — вещь приятная и полезная, бросил его. Нет времени. Как-то в апреле, в начале, Вера Илл<арионовна> говорила мне о распускающихся подснежниках, о том, что хорошо бы погулять. Я соглашался с нею. Неожиданно аспирант, шедший рядом с нами, спросил у меня: «А ваша жена курит?». Вера Илл<арионовна> мельком взглянула на меня, как-то со стороны, и я понял: она думала, что я неженат.

## 22/V—50.

В посл<еднее> время оч<ень> мало занимаюсь. Последний минимум давно надо было сдать.

Позавчера в институте был людный день. Документы по переаттестации аспирантов пошли в Москву. Городецкий неоднократно заговорщическим и, однако ж, довольно кислым тоном говорил аспирантам утешительные вещи относительно переаттестации, но этой темной личности не верю, как и его непосредственному начальству. Типы неприятные, способные на мелкую подлость.

Н. ходит с мучнисто-бледным лицом от страха. Лицо ее в таком виде кажется чужим на мощном и полнокровном торсе. Ее настроение передалось мне. Множество незаметных признаков мне, человеку уже изощренному, кажутся явно угрожающими.

Пробовал говорить с Гр<игорием> Абр<амовичем>. Этот, как птенец в детской ладони, сразу как-то съежился и нахохлился, скорее всего чувствуя себя шокированным моими вопросами, в которых сквозила недоверчивость, несм<отря> на то, что он, как он говорит, ничего угрожающего не заметил. Степень мне нужна обязательно. И работа — обязательно в провинции. Претензий в смысле научном у меня нет. Я чувствую себя более сильным, чем мои коллеги, но мне нужна не карьера, не лишний кусок хлеба, а содержательная жизнь, не это стоячее болото, где ни наукой, ни человечностью в отношениях даже и не пахнет. Сотр<удники> института — из занимающих видное положение — делятся на уловляющих и уловляемых. Первые значит<ельные> силы посвящают на подсиживание, подленькие колкости, иногда даже на клевету. Это называется воспитанием, выпрямлением линии, борьбой за советскую науку и т. д. На русском яз<ыке> это называется очень «смелой» охотой на зверя, у которого с изумительным по изобретательности искусством устраниены все средства к самозащите.

## 31/V—50.

Сдача минимума затягивается. Говорил с Гр<игорием> Абр<амовичем>, говорил в канцелярии, и после этих разговоров мне кажется, люди думают: «Зачем торопиться? И вообще — зачем сдавать, все равно тебя исключат», — но сказать это прямо почему-то не желают.

Страшно унизительно. Но что делать? Я не хуже других, в этом я уверен, но от этого не легче.

Ни одной путной консультации не состоялось. До сих пор не знаю, в каком направлении и объеме будут спрашивать. Гр<игорий> Абр<амович> мямлит и ссылается на занятость, профессор-горьковед, с которым я начал было беседовать по интересующим меня вопросам, был срочно вызван на заседание.

Институт покидать не хочется. Все ж таки, как-никак, я получил там много. В сравнении со студенческими годами вырос в понимании и знании литературы. Накопил не только факты — усвоил много хороших идей, главным образом, благодаря Горькому. Если сейчас вдруг придется идти в школу — как это будет бессмысленно и жестоко! Я способен на большее, чем школа. Пробивать дорогу стороной, бороться, изворачиваться — не хватит сил и воли. В теперешнем моем положении грязная сторона борьбы за будущее исключена, вот почему не хочется расставаться с ним.<sup>16</sup>

### <Без даты>

<...> Вокруг меня люди трезвые, материальные, каждый знает, что ему надо, а я живу литературой только, плаваю в розовом тумане, следават<ельно>, «отстал» от жизни.

Мне кажется, что мой руководитель ни во что не верит. Но достаточно умен, умеет работать, квалификация высокая, денег много. Все, вместе взятое, позволяет ему жить как хочется.

Литература наша сейчас занята выдумыванием советского человека. Занятие скучное, но прибыльное для тех, кто им занимается. По-моему, есть не советские люди, а какие-то другие, они населяют огромную страну, серую, нудноватую, постоянно платящую огромную дань времени за отсталость, дикость, невежество.

Когда я занимался Чеховым, мне казалось, что критическому реализму рано петь отходную, Чехова я воспринимал как современника и всех, в сущности, русских и западных классиков XIX в. тоже.

На последнем экзамене (позавчера) пришлось доказывать правомерность горьковской идеи слияния романтизма с реализмом. Я понимал, чем вызвана эта идея, ценю и люблю Горького за это, но в душе с ним не соглашался. Преждевременно это. Правда понятнее, ближе, нужнее самого красивого романтизма; долговечность пафоса и героики несвойственна нормальному человеку. Пафос проявляется в минутных вспышках, остальное — ровное, нормальное течение жизни. Ровность не исключает, конечно, неудовлетворенности, но только правда утешительна, и только она помогает жить. Я говорил на экзамене не то, что думал, а то, что, мне казалось, следует думать на экзамене в нашем институте. Со мною не согласились. Социалистич<еский> реализм, сказали мне, по идее самого Горького, романтизм исключает. Это меня по-

<sup>16</sup> Далее изъятые две страницы.

радовало и огорчило. Горький окончательной формулы не дал, но дело в том, что в советские годы в его художественном творчестве романтизма не найдешь. Теоретические взгляды на практике ему реализовать не удалось. В советские годы он высказывался (в публицистике и критике только, я не говорю о художественных произведениях) резко, от него пахло догмой, против которой он сам с такой непримиримостью всегда выступал. Так вот, меня порадовало отрицание романтизма, как его понимал Горький. Романтизм Горького догматичен. Я не отрицал романтизма непосредственного, льющегося из души, свободного, ничем не связанного. Огорчило меня то, что я не посмел об этом заявить, побоялся. И еще одно обстоятельство огорчило. Выводы по высказываниям Горького делают у нас не на основе изучения суммы и процесса его высказываний, а выхватывают что-нибудь одно, такое, что согласуется с формулами классиков марксизма-ленинизма. Против этого ничего не напишешь. Отправляются обычно от этих классиков, оценка писателю, последнее слово о писателе произносятся всегда с оглядкой на марксизм-ленинизм. Увлекательная работа превращается в механическую подгонку и подчистку тулова писателя для помещения его в заранее приготовленное прокрустово ложе. Пропаганда, агитация, тенденция перед наукой занимают предпочтительную позицию. То же можно сказать и об искусстве. Многие понимают, что это несправедливо и вредно, но — время такое: время бедное, жестокое и грубое. Нещедрое время. Человеку, усталому от работы и от всяческих житейских невзгод, свойственно любить выдумку, похожую на правду, и даже такую выдумку, — эту в особенности, — которая не похожа на ту правду, которой он живет. Этот человек сейчас массаи кидается на картину «Граф Монте-Кристо», он отдыхает на этом, с позволения сказать, искусстве и смакует его, потому что оно освежает его, уводя на несколько минут от его настоящей жизни. Настоящее его утомляет и утомляет в том смысле, что он не смеет заявить об этом. Истошный шум о советской демократии рядовому человеку приелся, но покритиковать его невозможно без страха тяжелого возмездия, наносимого от лица якобы все того же рядового «простого человека».

Мне почему-то романтиками кажутся Мопассан и Толстой — в таких вещах, например, как «Казаки» и «Хаджи-Мурат». Я люблю таких писателей, у которых много солнца, свободы, сочности в языке и картинах. Таких писателей называю романтиками. Романтизм для меня — понятие, не удаляющееся от действительности, а как раз наоборот, составляющее любовь жизнь. Горькому, по-моему, очень удалась «Сказки об Италии». Называю романтизмом все то, в чем угадываю красоту жизни, догадываюсь о ней. Догадка всегда очень радует. Пассивные описания, самые красивые, скучны. Люблю быстроту действия, лаконичность — Лондон, например, но и неторопливость, пухлую, громоздкую, но насквозь пропитанную жизнью — суровой, мрачной, убедительной: Драйзер, Голсуорси, Толстой. Люблю почти всех крупных писателей, поэтому их трудно перечислить и лучше сказать, кого не люблю: Гоголя,

Достоевского, Чернышевского, Салтыкова, отчасти Диккенса. Из советских писателей не люблю Фадеева за «Молодую гвардию»: сухо, риторично, написано от ума. Люблю Ал. Толстого и Шолохова. В отнoш<ении> остальных сов<етских> писателей можно говорить только по отдельным произведениям, а не по всему творч<ест>ву.

**18 октября 1950.**

Уже, наверное, около месяца каждый день с наступлением вечера я клянусь себя за то, что ничего не пишу в дневник. По ночам, после дня, заполненного работой или — это чаще — угнетающими мыслями о ней, выключаюсь совершенно из «деловой среды» и перехожу в свой личный мир. По вечерам и ночью я ничего не могу записать, — под боком жена, и я не хочу, чтобы она знала или читала то, о чем я думаю. Утрами же у меня большей частью кислое настроение. Если не еду в институт заниматься, то и дома почти не занимаюсь. Обычно попытки в этом роде кончаются тем, что заваливаюсь на диван, погружаясь на несколько часов в нездоровое забытье. Потом кто-нибудь является или наступает вечер, и жизнь вступает в свою колею, т. е. идет время — и только. Часто скука выгоняет из дома или даже из института. Тогда отправляюсь к приятелю играть в шахматы и сколько бы ни играл — все мало. Шахматы удобны тем, что во время игры думаешь только о шахматах, а время при этом летит быстро, легко, незаметно.

Начну с институтских дел. После отпуска приступил к работе над диссертацией. Работа увлекательная, но движется черепашьям шагом. Я не вышел из той «стадии развития», когда хаотическое нагромождение противоречивых фактов держит человека в плену, и нельзя сказать, чтобы плен этот не был сладок. Выводы делать не торопиться или делаешь поспешные выводы, тут же сознавая, что концепционной силы они еще не имеют; но самый процесс этого прыгающего в разные стороны анализа очень нравится. В конце-то концов еще не погрязшая в рутине природа права, когда не хочет многообразную душу писателя вкладывать целиком в какую-то одну формулу и, пока есть время, всячески оттягивает наступление скучного мига, когда придется этим все-таки заняться. Мне нужно доказать, что «Отцы и дети» — реальное, правдивое воспроизведение действительности, что это не клевета на так называемое молодое поколение, в какой-то степени наоборот и т. д. и т. д. Главная трудность заключается в том, чтобы не сказать ничего плохого о революционной демократии — Чернышевском, Добролюбе и других. Эти личности считаются непогрешимыми, поэтому задача усложняется. Роман Тургенева мне представляется умной критикой человека, который многое видел и понимал, но об этом нужно уметь говорить осторожно, нужно уметь, как выражается мой руководитель, «изловчиться».

Главное в работе уметь быть хозяином предмета, которым занимаешься. Нужно не забывать о второй жизни, и тогда будет все в порядке. Я мечтаю стать в какой-то степени профессионалом своего дела на за-

ранее облюбованном небольшом участке и жить при этом, как мне хочется: читать книги, немножко путешествовать, любить женщин и писать что-нибудь для себя. Жизнь только тогда интересна, когда о ней, сев за стол, можешь написать что-нибудь — хорошим языком похожее на правду, такое, в чем люди узнали бы себя, индивидуально, не массово узнавали.

Человек со своей маленькой, крошечной жизнью в этом мире очень увлекателен и интересен. Тот, кто в чередѣ повседневных дел и забот улучшает минуту и, выключаясь из общей спешки, пробует задуматься над своим положением, приходит постепенно к сознанию трагизма этого положения. «Человек рожден для счастья, как птица для полета». О счастье мы отвыкли думать, эпоха приучила нас соединять вместе два понятия: счастье и пошлость. Трудно думать о счастье или делать его, не впадая в пошлость. Но ведь должно же оно быть где-нибудь? Человек очень быстро стареет и сходит со сцены никому не нужный. Самое страшное в том, что жизнь человеческая не повторяется, каждый отдельный человек, умирая, лишается света, солнца, всего зеленого — навсегда. Над этим стоит задуматься. Трагедия человечества в том заключается, что оно в своей деятельности все больше и больше усугубляет эту мысль в сознании своих отдельных членов. Но есть в этом и утешение, хотя и слабое: чем острее сознание неминуемой смерти, тем больше любишь жизнь; чем больше любишь жизнь, тем пристальнее, настойчивее в нее всматриваешься и находишь разнообразие и богатство там, где существо тупое и «здоровое» ничего интересного не замечает. Сознание неотвратимости смерти наделяет способностью во всяком незнакомом человеческом лице видеть что-то родное, близкое. Думаешь: и ты и я умрем когда-нибудь, перейдем порознь в мир, где нет никаких возможностей, где, кроме тьмы и холода, — да и тех почувствовать не сможешь, — ничего нет. Почему же мы сейчас, живые, разумные, плохо пользуемся тем, что нам дано? Каждый человек — отдельный, сложный мир; сто человек — сто миров. Неужели в этом нет ничего заслуживающего внимания? Узнавай, пока можешь узнавать, живи, пока живется, но не надо киснуть, отказываться от людей и их жизни, пока еще не поздно.

Очень много думаю о смерти. Хочется многое успеть. Недавно смотрел картину «Паяцы». Впечатление произвели виды Италии: щедрое солнце, роскошная зелень. Хотя бы одним глазом посмотреть. В тот же день читал письма Тургенева, где он говорит об итальянских впечатлениях, о том, что только там, на развалинах античной культуры, под южным солнцем и благоуханным ветром, плавающим над погибшей древностью, он по-настоящему почувствовал пушкинский стих: «печаль моя светла...». Не хочется умереть прикованным к своему затхлому углу.

В это лето много раз был в пригородах. Самое хорошее время для подобных путешествий — июнь, когда вся природа в зеленом сочном цвете, листья еще не жестки и влажно-пахучи. В ораниенбаумском парке и Китайском дворце, как это ни странно, был в первый раз в жизни.

В Китайском дворце мне не понравился рисунок украшений внутри: чрезмерно наляпано золотого цвета, да и сами украшения вычурны. Но зато окна и подоконники мраморные понравились своей простотой и старостью, которые вызывают какое-то трепетное уважение и почтение. Глядя на них, вспоминаешь, сколько веков и людей смотрело в них на этот роскошный парк, просторный и безлюдный, пропитавший весь дворец своим медовым запахом.

Был на репинской даче,<sup>17</sup> которая сама по себе не произвела никакого впечатления. Кругом столько мощной растительности, тут как-то странно видеть низкорослые елочки и худенькие березки, натканные тесно вдоль узких аллеек, утопающих в мелком, пыльном песке.

Провел двадцать четыре дня в кавголовском доме отдыха. Вволю попользовался водой, солнцем, лесным воздухом. Покидал это место, как родной, давно обжитый дом, хотя очень хотелось в Ленинград. Объясняется это, наверное, тем, что мне хочется сразу быть во многих местах. Я грешен в своеобразном берклеанстве: живя, например, в Ленинграде, мне как-то трудно поверить, что во всех других местах такая же жизнь, и меня тянет в эти места с забавным желанием проверить, так ли оно.

Часто любовался там на молоденькую белокурую девушку, которая приходила играть в волейбол. Меня тронуло в ней поразительное сходство с Асей во всем: черты лица, голос, фигура, манера говорить, мимика, интонация. Только волосы непохожи, но прическа та же. У другой, тоже отдаленно напоминавшей Асю выражением лица, мне нравились... ноги, удивительно нежного молочно-желтоватого цвета. Эта, кажется, не прочь была кое в чем пойти мне навстречу, но оба оказались недостаточно смелыми. С третьей разговаривал и шутил, явно нравилась, но кто-то сказал, что ее будто бы возил на лодке на уединенный островок один очень грубый толстогубый тип и там якобы «использовал» ее с полного ее согласия, и я не то что охладел, а впал в какую-то холодную и продолжительную задумчивость. Время шло, и она уехала.

Четвертую возил кататься на лодке, бродил в малиновых зарослях на другом берегу озера, но нравилась она мне меньше тех, да и подруга ее основательно мешала.

Женщины не дают мне покоя, но все как-то проходят стороной.

В эти осенние месяцы часто собирался съездить туда, посмотреть с горы сразу на два озера, мерцающих глубоко внизу, на тонкую вертикальную струйку дыма над лесом, где расположена столовая, на покинутый людьми холодный берег, где царило такое оживление и где столько мужчин и женщин в жарком июле ловили скрытными взглядами друг друга...

Многие уехали не солоно хлебавши, и я в том числе.

---

<sup>17</sup> В п. Репино (до 1948 г. Куоккале); в настоящее время — музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты».



Работа моя подвигается очень медленно, и это начинает меня мучить. За успех я пока не боюсь, да и Гр<игорий> Абр<амович> говорит, что «у вас пойдет, обязательно пойдет, только надо плавниками шевелить побыстрее»; но через несколько дней с меня потребуют план, а оно нет. Душа не лежит к тому, чтобы составлять план, не представляя себе с полной ясностью материал, над которым будешь работать. Много начитанного; все это может опрокинуть любой заранее составленный с школьнической аккуратностью план. Я уже телесно пришиблен. Устаю страшно, много думая о пустяках, и все-таки прав Г<ригорий> А<брамович>, медленно делая. В институте некоторые лица относятся ко мне с боязливой осторожностью, вызываемой, очевидно, моей инвалидностью. Новая гардеробщица считает меня существом слабым, пришибленным и стесняется, когда я ей даю деньги одеваться.<sup>18</sup> О других и говорить нечего.

Недавно обсуждалась у нас работа одной дамы о Сухово-Кобылине. Кто-то сказал, что трудно судить о его драмах сейчас, не возобновив их в памяти. Я их не помнил в подробностях, хотя честно и с большим удовольствием прочел в студенческие годы, но мне стало как-то неловко: стало казаться, что вот, сейчас, посмотрят на меня и подумают: «А, невежда, ведь не читал же, многого ты не читал. Так какого же черта ты здесь, не на своем месте?». Я смутился и, опасливо посматривая по сторонам, встретился с внимательно-ироническим взглядом некоего члена-корреспондента.<sup>19</sup>

Вчера выпал первый снег и не весь растаял. Скоро зима. В фабричном дыме, заволакивающем наши окраинные небеса,<sup>20</sup> чудится что-то струисто-зябкое. Брр!

Сегодня опять ничего не делал. Накануне до 12 ночи играл в шахматы, потом 3 часа конспектировал одну небольшую статью Писарева. Если б я мог заниматься так прилежно, как играю в шахматы. Уж не прохожу ли я мимо своего настоящего ремесла? Впрочем, любовь к шахматам объясняется просто: нужно в чем-то топить скуку. Игра все-таки азартная и умная. Настолько увлекаюсь, что забываю обо всем на свете. Наркотик своего рода.

<sup>18</sup> Эта привычка автора дневника осталась неизменной и в дальнейшем. Припоминаю комичные случаи, связанные с этой его привычкой. Нередко встречая отца в БАН и Публичке, где когда-то гардеробы были куда обширнее, не чета нынешним, неизменно сталкивался с одной и той же картиной: двое служительниц опростомыю кидались к нему, нередко не считаясь с очередью, именно в расчете на щедрые «чаевые». В те далекие уже годы мы жили небогато, и я даже как-то сделал отцу замечание, сказав, что служительницы получают все же зарплату... «У них нищенская зарплата...» — с грустью отвечивал отец.

<sup>19</sup> Возможно, подразумевается М. П. Алексеев, относительно недавно (1946) удостоенный этого звания.

<sup>20</sup> Невская застава, проспект Села Смоленского, район нынешней станции метро «Елизаровская», в те годы считался дальней окраиной.

Уже три дня ничего не делаю, мучась бездельем. Читал постороннюю средних достоинств книгу и боялся, форменным образом боялся сесть за стол и писать план диссертации. Боюсь я этого плана, и боязнь с каждым днем увеличивается. Я — как замороженный очковой змеёй — не могу сдвинуться с места. План должен быть готов к субботе для чтения на секторе. Гр<игорий> Абр<амович> удивляется, пожимает плечами, а я не могу преодолеть страха. Приготовить план нужно в теч<ение> ближайших суток, потому что перед чтением его должен просмотреть Гр<игорий> Абр<амович>.

## 1951—1952

## 14/1—51 г.

Вчера мне необходимо было съездить в библиотеку А<кадемии> н<аук> и в институт. На 13 число я смотрю как все люди с предрассудками, и поэтому ехал я туда с некоторым неудовольствием и боязнью. Мне казалось, что если должно случиться что-нибудь неприятное, то наибольшие возможности для этого представляет 13 число. Если это можно назвать предчувствием, нужно сказать: оно меня не обмануло. Умер Н. И. Мордовченко — научный сотрудник института, работник нашего сектора, профессор в Ун<иверсите>те. Умер от рака, в возрасте 44 лет. Я его часто видел, даже писал у него в свое время семинарскую работу и очень уважал как человека очень интеллигентного, умного и доброго. Он был + очень мягок, и это его сгубило. Весной ему предлагали сделать операцию, он не имел характера согласиться. А кроме того, он много работал — больше и добросовестнее других, очень уставал и махнул, наверное, рукой на лечение, не желая потерять отпускное время летом... Глупая и напрасная смерть.

Два с половиной года тому назад он защищал докторскую. Оппонентом у него был Г. А. Гуковский.<sup>21</sup> Теперь оба мертвы. Слишком быстро! Смерть — что может быть убедительнее ее. Он был утомленным человеком, часто не имеющим времени для простых человеческих радостей. Нора<sup>22</sup> — он ее руководитель — рассказывала, что дома он часто был несдержан и вспыльчив в обращении с женою.

<sup>21</sup> *Гуковский Григорий Александрович* (1902—1950) — доктор филологических наук, заведовал кафедрой истории русской литературы ЛГУ (1939—1944, 1947—1949); в ИРЛИ — в Отделе новой русской литературы; жертва борьбы с формализмом и космополитизмом; уволен из ИРЛИ в 1949 г., летом того же года арестован. Умер во время следствия в Лефортовской тюрьме.

<sup>22</sup> Имеется в виду учившаяся в аспирантуре вместе с А. И. Батюто Л. А. Гессен; несмотря на перипетии, она так и не закончила аспирантуру ИРЛИ. К счастью, ей довелось благополучно завершить кандидатскую диссертацию в ЛГПИ им. А. И. Герцена; см.: *Гессен Л. А. Л. Н. Толстой в работе над романом «Декабристы» в 1877—1879 годах*. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1955. 19 с.

Я его часто наблюдал на секторе. Лицо его менялось сразу и становилось уважительно-задумчивым, как только кто-нибудь высказывал неожиданно умную мысль.

Его часто смешил Гр<игорий> Абр<амович> своими шутками. Смеялся он раскатисто, громко, порывисто и от души, как все добрые, заваленные работою люди в редкие минуты освобождения от забот. Груз с плеч сваливается, и человек смеется, смеется всем телом, отдыхая и забывая обо всем другом. Смеясь, он обнаруживал прокуренные, не очень хорошие зубы и стеснялся этим. Слушая других, аппетитно курил толстые пахучие папиросы почти одну за другой. Мне почему-то кажется, что этот человек не успел пожить, жизнь пролетела для него незаметно. Для него она только начиналась. Жалко его очень. Люди плохие и ненужные умеют заботиться о своем здоровье. Он не умел.

На некрасовской сессии (вчера же) сидел рядом с одним нашим аспирантом, существом духовно грубоватым, недалеким и хитрым. Он передо мною произнес чуть ли не речь о Н<иколае> И<вановиче>. Казенные, холодные, гладенькие слова для приличия. Этот аспирант вообще ничего, кроме личной карьеры, не уважает, а Н<иколая> И<вановича> он еще и побаивался, потому что тот не мог сдержаться, когда этот аспирант читал свои доклады, и выражал свою справедливую критику в форме довольно колкой. Гр<игорий> Абр<амович>, друг Н<иколая> И<вановича>; на сессию он не пришел, и я его за это уважаю. Впрочем, не было многих, но, мне думается, по другим причинам. Я наблюдал тех, которые были. Они знали Н<иколая> И<вановича> в течение ряда лет, но лица их не выражали ничего особенного. Шутят, смеются, как обычно. В чем здесь дело? Сдержанность? Я думаю, нет. Обычное равнодушие. Но все-таки странно и немного страшно. Страшно потому, что человек перед лицом смерти совершенно бессилен. Человек — игрушка, предназначенная на редкое жужжание, пока хватает завода. Им нечего было сказать. Не они умерли — и ладно. Они умрут — тоже ладно. Что тут скажешь. Когда умирают тысячи, это не страшно. Невозможно знать всех людей, поэтому в неприятии смерти тысяч есть что-то отвлеченное, такое-то число арифметическое, и больше ничего. Но смерть одного человека, если его знал хотя немножко, действует сильно. Настроение у меня неважное. Я уже был отчасти подготовлен к мысли о смерти, читая воспоминания доктора Белоголового о последних днях Некрасова и Тургенева и о болезнях Анненкова и Салтыкова. Специальный докторский отчет, лишенный отвлеченностей, всякого рода рассуждений, казалось бы, должен был подействовать успокаивающе, но в начале книги я увидел фотографию могилы и памятника самому Белоголовому...<sup>23</sup>

Время идет очень быстро, работа — медленно.<sup>24</sup> Занимаюсь.

<sup>23</sup> Речь идет о кн.: *Белоголовый Н. А.* Воспоминания и другие статьи. 4-е изд. СПб., 1901.

<sup>24</sup> Имеется в виду работа над диссертацией.

Позавчера вечером стоял в почетном карауле<sup>25</sup> у гроба Ник<олая> Ив<ановича>. Стояло по четыре человека: двое у изголовья, двое в ногах. Я стоял в «ногах», мне представлялась возможность смотреть на Ник<олая> Ив<ановича>, но я почему-то думал, что смотреть нехорошо, что это любопытство, в котором есть что-то обидное, и только два раза мельком взглянул, а остальное время смотрел куда-то вбок и в землю. Лицо его стало неузнаваемым. Кости, обтянутые желтой, слежавшейся в складки кожей, — все, что осталось от лица. Ощущение такое, что словно лицо его кругло обнимают тяжкие каменные узы, не позволяя на нем распространиться живому выражению. Но это выражение как будто силится высвободиться от сковывающего его члена...

В коридоре перед дверьми Актового зала сидело десятка полтора аспирантов и бывших студентов. Незнакомая девушка-распорядительница, снимая с моего рукава траурную повязку, вздохнула и сказала рядом стоявшей женщине с усталостью в голосе: с самого утра здесь... совсем выбилась из сил...

Вчера хоронили. Я никогда не был на гражданских панихидах. Опишу.

Когда я пришел, в Актовом зале уже полно было людей, стоявших «покоем». За открытым гробом, на возвышении, сидело человека четыре музыкантов, временами игравших печальные мелодии. Говорили речи, тепло, без казенщины. Называли Ник<олая> Ив<ановича> хорошим человеком, добросовестным ученым и отзывчивым товарищем и учителем, говорили о родине, науке, культуре, но все это по-настоящему, без ложного пафоса и исключительности. Бердников<sup>26</sup> плакал, и я стал думать о нем лучше, чем обыкновенно. Павел Наумыч<sup>27</sup> стоял в почетном карауле, выгнувшись, как солдат, но смотрел при этом на Ник<олая> Иваныча неотрывно. Было в этом разглядывании что-то не понравившееся мне. Проще и естественнее всех держался Григорий Абрамович. Ничего показного. У гроба все время стояли две женщины ничем не замечательные и мальчик — в профиль вылитый Ник<олай> Ив<анович> в миниатюре: форма головы, русые волосы с желтинкой и аккуратным пробором сбоку. Потом, когда уже шли за гробом по улицам, я заметил, что и походка у него точно такая, как у Ник<олая> Ив<ановича>.

После речей началось прощальное шествие мимо гроба. Потом профессор вынесли гроб, поставили на катафалк, запряженный лошадьми. Лошади, катафалк, служители — из тех, которые обычно возят ев-

<sup>25</sup> Дежурили также и ночью, охраняя гроб, находящийся в Актовом зале университета, от мышей. Благодарю за это маленькое дополнение М. Д. Кондратьева.

<sup>26</sup> Бердников Георгий Петрович — см. с. 454, примеч. 1.

<sup>27</sup> Берков Павел Наумович (1896—1969) — доктор филологических наук, чл.-корр. (1960) АН СССР по ОЛЯ, один из организаторов Группы (в настоящее время — Отдела) по изучению русской литературы XVIII в. ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН.

рейских мертвых. Гроб торопливо заколотил расторопный старичок в грязно-сером балахоне; стук молотка явственно слышался сквозь шум духовой музыки.

От университета шествие направилось к нашему институту, где Мейлах<sup>28</sup> произнес небольшую речь с такими словами в конце, сказанными очень просто и так, что ясно чувствовалось, что это говорит друг Ник<олая> Ив<ановича>: мы сделали все, чтобы семья Ник<олая> Ив<ановича> не забыла, что он работал в нашем институте.

Вообще, нужно сказать, что среди провожающих научных работников от института преобладали сотрудники нашего сектора. Бельчиков, говорят, в командировке, но почему не было Городецкого, не знаю. Его я не видел нигде. Была короткая остановка также около дома писателей. Какой-то весь бритый, с толстым затылком человек произнес речь.

Хоронили на Охтинском кладбище.<sup>29</sup> Я там был первый раз. Кладбище довольно живописно, завалено сугробами мокрого снега, из которого всюду торчат молодые, но уже вошедшие в силу густые деревья. Могилу Ник<олая> Ив<ановича> вырыли под тремя березами. Пока могильщики — тяжелые, красные, видимо, под небольшим хмельком парни снимали дощатый настил с ямы и опутывали гроб тросами, стояли тихо вокруг. Изредка тишину нарушали слабо доносившийся из города заводской гудок или ленивое карканье вороны. В воздухе царили безветрие и оттепель; не переставая шел снег. Где-то сбоку послышался шепот Алексева:<sup>30</sup>

— Григ<орий> Абр<амович>, скажите несколько слов...

— Ладно... — и Григ<орий> Абр<амович> прошел к самому краю могилы.

Одна фраза из его речи запомнилась. «Пусть легка ему будет земля», — сказал Гр<игорий> Абр<амович>.

Затем наступила очередь могильщиков. Они опустили гроб в могилу и в одну минуту ловко закидали ее песком, соорудив сверху маленький холмик. Это произошло поразительно быстро. Григ<орий> Абр<амович> стоял тут же и с обидой и горестным недоумением смотрел на этот холмик, словно хотел сказать: «И это все? Этот нелепый сырой холмик и есть все, что осталось от человеческой жизни, со всеми ее трудами, радостями, заботами?». Могильщики стояли в стороне. При-

<sup>28</sup> Мейлах Борис Соломонович (1909—1987) — доктор филологических наук, специалист по русской литературе XIX — начала XX в., творчеству А. С. Пушкина, с 1946 г. — профессор кафедры истории русской литературы ЛГУ.

<sup>29</sup> Имеется в виду Большеохтинское кладбище.

<sup>30</sup> Алексеев Михаил Павлович (1896—1981) — чл.-корр. (1946), академик (1958) АН СССР, в 1945—1947, 1950—1953 гг. — декан филологического факультета ЛГУ, в 1950—1963 гг. — заместитель директора ИРЛИ по научной работе, специалист по английской литературе, русско-английским литературным связям, в области пушкиноведения, председатель редколлегий и главный редактор Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева в 28 томах.

вычный к такой картине народ, но и они ничем не нарушили ее траурной торжественности.

После возложения венков минут десять стояли молча, затем от задних рядов постепенно стали откалываться отдельные люди, потом и вся толпа, как подтаявшая снежная глыба, расплзлась, растеклась по аллее... Я очень устал. Пальто насквозь пропиталось водой; все время шел снег.

У могилы остались те две женщины и мальчик. Я теперь мог его рассмотреть en face. Так он непохож на Ник<олая> Ив<ановича>.

## 9/II—51 г.

Только что вернулся из кино. Смотрел чудесный итальянский фильм — «Под стенами Малапаги». Превосходная игра актеров, художнически написанный сценарий. Автор умен и талантлив. Правда жизни, о которой у нас так много говорят, но о которой не всегда умеют говорить просто. Здесь же изящная простота сочетается с задушевной сдержанностью и мужеством его выражения. Видишь людей, говорящих каким-то с первого впечатления непонятым языком. Это потому, что не шаблонно. В наших сценариях и книгах часто видишь литературу, идею, которую автор во что бы то ни стало проводит. Следя за содержанием наших книг, угадываешь заранее развитие идеи, что же касается человека, то он обычно настолько трафаретен, банален, привычен, что не производит впечатления. Знаешь, что это человек не настоящий, а придуманный автором. На душе печаль. Хочется жить иначе, хотя бы как эти люди, даже в тяжелых и глупых условиях существования не растерявших самых красивых человеческих чувств. Что-то благородное, чистое, сдержанно-изящное. Прелесть! И как тут человек, а не политик на первом плане! Вполне может прожить человек без политики. Неиспорченному человеку она не нужна. Пусть бы ею занимались разные умники, не трогая при этом порядочных людей. У человека оставалось бы больше времени для того, чтобы быть человеком. Я говорю, наверное, наивные вещи. Пусть! Не хочу быть умным. Хочу быть счастливым, жить среди счастливых людей, а не болтать только об этом. После этой картины не хочется писать диссертации. Да простит мне Иван Сергеевич!

Превосходна сцена у моря. Два человека, мимо которых всю жизнь проходило счастье, неожиданно обретя его, так просто, по-человечески разговаривают, с каким-то непередаваемым ироническим оттенком, прикрывающим подлинную глубину и богатство чувства, о котором говорить прямо было бы и топорно и пошло. А жанровая сценка: курица с котенком! Это надо было сделать с незаметным искусством, и это сделали.

Для меня наступают очень тяжелые дни. Я убеждаюсь в собственной бездарности на том «поприще», которое мною избрано. Написал с большими муками кусок для первой главы и подал Григорию Абр<амовичу>. Судя по результатам устного разговора на эту тему, я догадываюсь, что этот кусок, когда он прочтет его, zelo ему не понравится. Мне, автору (!), не нравится уже, что же хорошего после этого может сказать человек искушенный?

Сегодня я ему звонил по телефону, думая, что он уже прочел и пригласит к себе поговорить. Пригласил на завтра, но ничего не сказал о докладе. То ли не прочел, то ли пожалел. Правда, сказал, что дочту, мол, до конца и тогда обменяемся впечатлениями, но по тону чувствовалось: или что-то недоговаривает человек или ждет прямого вопроса, чтобы уж потом, так сказать, в силу необходимости огорошить. Ничего хорошего от завтрашнего дня не жду. Жизнь проходит бессмысленно. Это не настоящая работа, но я все равно ничего не умею и нигде в другом месте не сумел бы. Тяжело. Неужели мне никакого оправдания нет? Неужели я совершенно никуда не годен? Зачем тогда жить? Самое большое горе — осознанная бездарность.

<...>

Я решил возобновить дневник и вести его регулярно. Причина — возрастающая скука и, выражаясь высоким слогом, утомление от жизни. Личная жизнь по-прежнему настолько сера и невыразительна, что страшно становится. И надежд никаких нет. Годы уходят, приближается старость — время исчезновения даже иллюзий.

Все, чем я сейчас занимаюсь, представляется мне бесполезным и никому не нужным делом. Диссертация — это казуистическое высасывание из пальца — окончательно мне опротивела. Я часто возмущаюсь — почему жизнь складывается так, что приходится делать то, во что не веришь, что не приносит никакого удовлетворения. Но потом замечаю, что большинство людей находится в таком же положении, что это «всемирно-исторический закон», наиболее приложимый к нашему веку и в особенности к нашей стране, и к возмущению прибавляется чувство безнадежности и бессильного страха. Ничего поделать нельзя, весь мир — казарма, и нужно примириться с этим, если не хочешь потерять самое жизнь.

Поговорим о моей специальности и моих «перспективах». К своей литературоведческой карьере я, в общем, никогда не относился серьезно. Для меня она была только средством приобретения независимости и материального благополучия. Это не исключало намерения работать добросовестно. Как это, может быть, ни странно, это не исключало и интереса к избранной работе. Но... здесь много но. Работать добросовестно и с интересом можно, но вместе с тем необходимо работать

и по указке, уметь подгонять и извращать факты. Это теперь называется пошлым словом «такт». Если не умеешь быть «тактичным», тебе посмеются в лицо, назовут человеком неумным и недалевидным или просто постараются избавиться от тебя как от личности беспокойной и даже опасной. Короче говоря, работа в сфере идеологии невозможна без халтурнического приспособленчества к выработанным на верхах новым модам. Ясно, что при таких условиях о самостоятельности не может быть и речи, а это сознание часто приводит к потере самоуважения. Чувствуешь, что тебя не уважают не только другие, но и сам ты себя перестаешь уважать. Теперь о материальном благополучии. Чтобы его достичь, нужно быть или очень способным человеком, или обладать хитростью в сочетании с умело прикрытым бесстыдством и большим трудолюбием, выносливостью в сером труде изо дня в день, из года в год, на всю жизнь. Всех этих качеств у меня нет.

Тургенев нередко говорил о том, что талантом называется особенная предрасположенность и любовь к какому-нибудь делу. Кое к чему и я предрасположен. Я бы, например, хотел поездить, посмотреть новые места и новых людей, хотел бы любить многих женщин, и это не потому, что я по натуре своей человек праздный и склонный к разврату. Мне просто страшно одиночества, мне страшно сознавать, что жизнь проходит, никогда не повторится, что придет такое время, когда начнешь терять способность видеть, слышать, чувствовать, обладать. Люди могли бы устроить из жизни сплошной праздник, жить в свое удовольствие, но ничего этого нет. Только работа, заботы о куске хлеба и «механическое» производство себе подобных. Это не жизнь. Диссертацию свою я кончил. Получилась очень большая. Месяца через полтора буду защищаться.<sup>31</sup> С января месяца я сижу без денег, потому что не работаю. После защиты также трудно будет найти работу. Оканчивающие аспирантуру в нашем институте не подлежат распределению — вот в чем все дело. После долгих поисков приложения своих сил мне придется удовлетвориться (спрос на нашего брата мал, потому что предложение, особенно в таких городах, как Ленинград и Москва, очень велико) какой-нибудь работишкой незаметной и, что обиднее всего, плохо оплачиваемой.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Привожу сохранившуюся в семейном архиве газетную вырезку: «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР извещает, что 25 ноября <1952 г.> в 2 часа дня на открытом заседании ученого совета института (Вас. остров, Тучкова наб., 2) состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук А. И. Батюто на тему: „Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и общественно-политическая борьба 60-х годов”. Официальные оппоненты: доктор филологических наук В. Г. Базанов, доктор филологических наук Н. И. Пруцков. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института».

<sup>32</sup> На этом рукопись дневника заканчивается. Выскажу предположение, что для А. И. Батюто начался новый период жизни, и он прекратил дневниковые записи.